Альбертина Сарразен

Меня зовут Астрагаль

Как я любила ее, мою Альбертину! Ее сияющие глаза освещали мне путь во тьме ранних лет. Она была моим провожатым среди ночных метаний. И вот теперь она ваша.

Патти Смит

CORPUS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Опубликованный полвека назад автобиографический роман Альбертины Сарразен “Меня зовут Астрагаль” обошел весь мир. Написанный в тюрьме, где она провела несколько лет и куда за проституцию и воровство попадала не раз, он принес ей настоящую славу. Воспитанная приемными родителями – настоящих она никогда не знала, – Альбертина в шестнадцать лет сбежала из школы для трудновоспитуемых и пыталась выжить в Париже всеми дозволенными и недозволенными способами. И все это время, в неволе и на свободе, она писала. Признание пришло незадолго до смерти. Выпустив подряд три бестселлера, Альбертина Сарразен умерла в тридцать лет от врачебной ошибки, не прожив и года после публикации последней части трилогии.

Все события, о которых идет речь в романе, – подлинные. Побег из тюрьмы, жизнь вне закона, безумная любовь на фоне тюремных воспоминаний и постоянного страха снова оказаться за решеткой описаны с предельной искренностью. И интерес к книге после стольких лет не угасает. Ее недавно переиздали во Франции, Англии, США и еще десятке стран, где читатели вновь открывают для себя этот маленький шедевр.

- Альбертина Сарразен
  -
  - Патти Смит
  - Меня зовут Астрагаль
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Глава VI
    - Глава VII
    - Глава VIII
    - Глава IX
    - Глава X
    - Глава XI
    - Глава XII
    - Глава XIII
    - Глава XIV
    - Глава XV
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8

Альбертина Сарразен
Меня зовут Астрагаль

© Pauvert, département des Éditions Fayard, 1965, 2001
© Introduction by Patti Smith, 2013
© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2014
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО “Издательство АСТ”, 2014
Издательство CORPUS®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

* * *

Патти Смит
Моя Альбертина
Предисловие к изданию 2013 года

Наверное, неправильно начинать с себя, когда берешься писать о ком-то другом, но дело в том, что без Альбертины я вряд ли стала бы такой, какая я есть. Не будь ее, откуда бы мне взять непринужденные манеры, женскую стойкость в невзгодах? И разве были бы такими едкими мои ранние стихи, если бы не “Меня зовут Астрагаль” Альбертины?

Я наткнулась на эту книжку в 1968 году, совершенно случайно, когда бродила по Гринвич-Виллидж. Это было в День Всех Святых – так записано в моем дневнике. Я умирала от голода, мечтала о чашке кофе, но сначала заглянула в книжную лавку на Восьмой улице, чтобы порыться в развалах уцененных тиражей. На столиках лежали стопки *Evergreen Reviews* и нераспроданные переводные романы каких-то малоизвестных писателей – продукция издательств *Olympia* и *Grove Press*. Я искала что-то особенное, некую знаменательную книгу, которая указала бы мне новый, неизведанный путь. И вот мне попалась книжка с необыкновенным, изображенным в черно-фиолетовых тонах лицом на суперобложке, про автора говорилось, что это “Жан Жене в юбке”. Цена 99 центов – ровно столько, сколько стоил кофе с сырным тостом в “Уэверли” на другой стороне Шестой авеню. У меня в кармане была долларовая монетка да жетон на метро, но первые же строчки так поразили меня, что один голод вытеснил другой, и я купила книгу.

Она называлась “Меня зовут Астрагаль”, а лицо на суперобложке принадлежало Альбертине Сарразен. В поезде, на обратном пути в Бруклин, я жадно прочитала все, что было написано в аннотации, но узнала не много – только то, что Альбертина была сиротой, родом из Алжира, она попала под суд, отбыла срок наказания, написала три книги – две в тюрьме, одну на воле – и рано умерла, в 1967 году, не дожив самую малость до тридцати лет. Я словно бы внезапно обрела и тут же потеряла ту, что могла бы стать мне сестрой, и это глубоко взволновало меня. Мне самой в то время было двадцать два года, и я на время рассталась с Робертом Мэплторпом. Променяла привычное тепло его рук на другие, еще неведомо что сулящие объятия. Предстояла суровая зима. Моей новой любовью был художник –

он внезапно появлялся, читал мне вслух “Богоматерь цветов”[1], спал со мной и снова пропадал на несколько недель.

Я маялась ночами напролет, не могла успокоиться ни на минуту. Постоянное томительное ожидание – то музы, то любовника – было хуже всякой пытки. Собственных слов, чтобы претворить муку во вдохновение, уже недоставало, – я искала подходящие у других.

И вот в романе, написанном молодой женщиной на восемь лет старше меня, я нашла их. В энциклопедиях о ней ничего не было, поэтому представление о ней (как раньше о Жане Жене) я должна была составлять по крупинкам, вчитываясь в каждую строчку ее книги и не забывая при этом, что в мемуарах художника правда может раскрываться через выдумки. Я сварила кофе, обложилась подушками и улеглась с книжкой. Она оказалась крепким сплавом реальных фактов и вымысла.

Девятнадцатилетняя Анна, приговоренная к семи годам заключения за вооруженное ограбление, совершает побег и падает с десятиметровой тюремной стены. Со сломанной лодыжкой она лежит под усыпанным безжалостными звездами небом, совершенно беспомощная. Крохотная, но отважная, Анна долго и упорно добирается до шоссе и ковыляет по нему, пока ее милосердно не подбирает Жюльен, такой же бродяга, мелкий воришка. Она быстро соображает, что он тоже мотал срок, – свои друг друга чуют. Жюльен сажает ее на мотоцикл, и они едут вместе в ночной холодрыге. На рассвете он привозит Анну в безопасное место, к себе домой, и укладывает ее, маленькую, как ребенок, в детскую кроватку. Позже поселяет ее в комнатке на втором этаже у знакомых, но хозяева недовольны и догадываются, что дело нечисто, тогда он отвозит ее к приятелю своего приятеля. Так называемое освобождение обернулось бесконечным перепрятыванием из одного укрытия в другое.

Иногда она впадала в ярость. Как тут уснешь? Небось в тюрьме и то лучше – не надо каждую минуту озираться. Какой сон у беглянки, вынужденной высматривать, прищурясь, нет ли поблизости предателя. Поврежденная нога закована в гипс, но самую нестерпимую боль причиняет Жюльен – как ни удивительно, ему удается взломать закрытое на замок сердце Анны. Страстное желание, которым она томится, так же тягостно, как тюремное заточение. И никакого выбора – знай терпи, пока тебя перетаскивают с места на место. Побитый Гермес со сломанной кривой лодыжкой и обездвиженными крыльями.

Героиня обречена дожидаться своего ненаглядного бандита. В их истории много мытарств, недоразумений, арестов и судов и немножко радостей. Такие вот персонажи попали в эту книгу из жизни.

Альбертина представлялась мне дерзкой, тоненькой как соломинка, в прямой юбке, блузке без рукавов, перехваченной в поясе ремешком, и с косынкой на шее. В ней не было и пяти футов роста, но она ничуть не походила на запуганного заморыша, скорее – на динамитную шашку, которая при взрыве не убивает, но калечит. Она очень проницательна – легко ориентируется в любой ситуации, насквозь видит полицейских, без слов понимает возлюбленного; быстро находит меткие выражения. “Наш путь гол и солон, как пустыня”. У нее свой особый, выразительный язык, сленг с примесью латыни.

Жан Жене в юбке? Нет, она сама по себе. Ее стиль, уголовно-лирический, невозмутимо-умственный, ни на кого не похож. “Я бежала незадолго до Пасхи, она наступила, но никакого воскресения не было, не было вообще ничего: ни жизни, ни смерти”. Этот поэтический голос, “насмешливый и чистый”, пронизывает все повествование, словно бегущая среди скал узкая речка, словно темная жилка, то вырывающаяся на поверхность, то уходящая в глубину. Альбертина – крохотная святая всех бродячих писателей. Очень скоро я втянулась в ее мир и уже сама готова была ночами напролет марать бумагу, пить кружку за кружкой обжигающий кофе и останавливаться только для того, чтоб подвести глаза карандашом “Мэйбеллин”. Моя податливая душа восторженно впитывала и усваивала ее дышащие молодой силой заклинания:

> Я хотела бы уйти, но куда? Соблазнить, но кого? Писать, но что?

Вступая в орден Альбертины, надо отдать должное переводчице Пэтси Саутгейт. В 1968 году она тоже стала для меня открытием. Ослепительная блондинка с прозрачно-голубыми, как у хаски, глазами, она писала и переводила для *The Paris Review*. Как-то раз я увидела ее фотографию, где она сидит в парижском кафе после того, как срезала свои светлые локоны, и была поражена. У себя в комнате я повесила в ряд портреты: Альбертина, Фальконетти, Эди Седжвик и Джин Сиберг – все коротко стриженные, все мои тогдашние кумиры.

Пэтси Саутгейт была загадкой. Какое-то инстинктивное чувство помогло ей, вышедшей из привилегированной среды обеспеченных людей, проникнуть в мир Альбертины и ощутить

тайное родство с ней. Умная, образованная, она знала и страстно любила все стороны французской культуры, была кумиром обосновавшихся во Франции битников последней волны и прославилась романом с Фрэнком О'Хара. Она росла одиноким ребенком, родители держали ее в строгости, и только от французской гувернантки Луизы она видела ласку. Когда Луиза вернулась на родину и вышла замуж, девочка была в отчаянии и долго еще с жаром рисовала в воображении некую "настоящую" мать, которая подошла бы ее французской душе.

Альбертина тоже всю свою короткую жизнь стремилась узнать, кто ее настоящая мать. Она родилась в 1937 году в Алжире, ее подкинули в приют, где она и получила имя – Альбертина Дамьен. Потом ее удочерили и окрестили Анной-Марией. О ее происхождении ничего не известно, внести ясность мог бы разве что анализ ДНК. Кто она: дочь юной испанской танцовщицы и матроса? Или незаконный ребенок приемного отца от алжирской служанки еврейских кровей? Обе версии экзотичны и спорны, и обе годятся как объяснение маргинальных замашек. Она очень рано проявила яркую одаренность; успехи в латыни, литературе, игре на скрипке сулили музыкальную карьеру, отличное образование. Но недостаток любви и печальные обстоятельства толкнули ее на другой путь.

В десять лет ее изнасиловал родственник приемного отца. Она стала убегать из дома, и родители поместили ее в жуткую исправительную школу для девочек, которая, словно в насмешку, называлась "Добрый Пастырь". Там ее унижали, даже лишили права носить крестильное имя Анна-Мария. В тринадцать лет она вела дневник – записывала в толстой тетради на спирали свои очень трезвые наблюдения. Эту тетрадь у девочки отняли в наказание за то, что она надушилась, – воспитатели сочли, что от нее слишком сильно пахнет ландышем. Небольшого роста, приятная на вид и наделенная недюжинным умом – этакая Жанна д'Арк на судилище, – Альбертина сбежала из ненавистной школы в Париж. Уличная жизнь сделала из нее проститутку и воришку. Ей было восемнадцать, когда ее с сообщницей арестовали за вооруженный грабеж и осудили на семь лет. А последний срок, четыре месяца, она получила в 1963 году за то, что стащила в магазине бутылку виски. И все время, с ранней юности, переживая любовь и разлуку, в тюрьме и на воле – она писала.

Жизнь часто бывает похлеще любого кино. Жизнь Альбертины кончилась печально – на операционном столе. Устало улыбнувшись Жюльену, она доверилась растяпе

анестезиологу. Что виделось ей под тяжелыми, густо накрашенными смеженными веками в том последнем сне: слава, спокойное, обеспеченное существование, семья? Все так и могло обернуться – они с Жюльеном стояли на пороге перемен. Поженились, готовы были распроститься с преступным миром. Но жизнь ее закончилась так же, как началась, – ее погубило человеческое равнодушие.

О святая Альбертина, с ее легким пером и неизменным карандашом для глаз! Я сроднилась с ней. Мне представлялось, как сигаретный дым вьется над ее головой, впитывается в кровяное русло, проникает в сердце. Сама я курить не могла из-за слабых легких, но носила в кармане пачку “Голуаз”. Я расхаживала взад-вперед по комнате, дожидаясь своего художника, который придет и спасет меня из добровольного заточения, так же, как она дожидалась Жюльена. И ожидание становилось не таким тягостным, а растворимый кофе казался эликсиром. У меня появился особый лексикон, почерпнутый сначала из “Меня зовут Астрагаль”, а потом из “Побега”, *La Cavale*, следующей книги Альбертины, которая открывается словами: “Прикид у меня для тюрьмы самый что ни на есть подходящий: манто из опоссума и слаксы”, – едва ли не лучшее начало во всей французской литературе.

Разочаровавшись в одном любовнике, я нашла другого – Сэма Шепарда. А когда и он решил уйти, мы вместе написали лебединую песнь – пьесу *Cowboy Mouth*, “Уста Ковбоя”. Свою героиню я назвала Каваль – от *La Cavale* Альбертины – в конце она объясняет, что означает это слово.

В 1976 году, путешествуя по свету, я прихватила с собой “Астрагаль” – книжка лежала в металлическом чемоданчике вместе с драными футболками, разными талисманами и той самой черной курткой, которую я держала небрежно перекинутой через плечо на фотографии, украшающей мой первый альбом *Horses*. Это была книжка издательства *Black Cat* в мягкой обложке с портретом Марлен Жобер в роли главной героини. Она стоила 95 центов, примерно столько же, сколько я заплатила в 1968-м за издание в твердом переплете. Я притащила книжку в Детройт, где встретила наконец своего настоящего Жюльена – сложного, сдержанного, очень красивого, и стала сначала его невестой, а потом женой. А когда он умер, в 1996 году, увезла ее с собой назад в Нью-Йорк вместе с драгоценным грузом горько-сладостных воспоминаний.

Недавно, перед последней поездкой во Францию, я вдруг опять наткнулась на эту книжку, но открыть ее не смогла. Вместо этого завернула в старый платок и опять положила в металлический чемоданчик, но уже другой. Альбертина лежала там, как увядшие лепестки, под грудой тряпок – тех, что ныне, в XXI веке, играли роль драных футболок. Однажды ночью в тулузской гостинице мне не спалось, я развернула книжку и принялась ее перечитывать. И снова все пережила: прыжок, вспышку боли в треснувшей лодыжке, увидела ангела-избавителя, разглядывающего в свете автомобильных фар испуганное, трепещущее, как сердце, лицо беглянки. События моей жизни незаметно сплетались с ее словами. Между пожелтевших страниц вдруг обнаружился сложенный старый рисунок – портрет моего любимого, я расправила потертые сгибы и нашла прядь его гладких темных волос – одну реликвию внутри другой.

Он и она – не случайно мелькнувшие ангелы, а ангелы-хранители всей моей жизни.

Когда-нибудь я приду на ее могилу, прихватив с собой термос черного кофе, мы посидим немножко вместе, я сбрызну ландышевой водой надгробие в форме той самой сломанной косточки, которое установил Жюльен. Как я любила ее, мою Альбертину! Ее сияющие глаза освещали мне путь во тьме ранних лет. Она была моим провожатым среди ночных метаний. И вот теперь она ваша.

Меня зовут Астрагаль

Глава I

Небо отлетело вверх на десяток метров.

Вставать я не спешила. От такого удара и булыжнику впору расколоться, я сидела ошарашенная и ощупывала острую щебенку. Вдох, еще один – в голове постепенно оседали осколки разорвавшихся звезд, тишина обволакивала взрыв. Слабо светились в темноте разбросанные по земле белые камни. Наконец я оторвала от них руку, ощупала левое плечо, ребра, поясницу – как будто все ничего. Значит, цела и могу двигаться дальше.

Я встала. И только грохнувшись со всего маху, руки вразлет, лицом в колючки, вспомнила, что не проверила ноги. Знакомые наставительные голоса просверлили тьму: “Смотри, Анна, кончится тем, что ты себе ноги переломаешь!”

Я снова села, снова принялась за обследование. И на этот раз нащупала на уровне щиколотки какую-то шишку, которая надувалась и пульсировала под пальцами.

Сколько раз являлась я к тебе, лекарь, с постной миной и расписывала боли там, где, по моим расчетам, ты не мог меня проверить; сколько раз носила вам, сестренки, микстуру в постель, бодро топая резвыми ноженьками, и уж так завидовала вашим слабым желудкам. Теперь всё, теперь вы будете обихаживать меня, вы или другие, невелика разница, кончено дело: я перебила лапу.

За этой стеной мирно спят все мои подружки, я измерила ее глазами – милые вы мои, вот это высота! Я летела, парила, кружила – секунду? – целую вечность! Оттолкнулась от стены и от всех вас – и вот, пожалуйста, приземлилась.

Еще сегодня днем я накачалась атропином и впрыснула в ляжку бензин. Роланда вышла на волю, а дожидаться, пока мы сможем встретиться, мне было невмоготу, вот я и ловчила, чтобы залечь в лазарет, там дни бегут быстрее, да и смыться оттуда легче.

– Вы вся зеленая! – воскликнула воспитательница на вечернем обходе.

– Наверно, об стенку вымазалась. – Я отлично знала, что похожа на мертвеца, но притворилась, что не поняла, и стала озираться, будто проверяя, в чем у меня спина. Мы как раз красили стены в столовой: одну в желтый, две в зеленый и одну в голубой цвет, а подоконники – в этакий солнечно-рыжий.

– Да нет, вы, вы сами! У вас лицо зеленое! Вы нездоровы?

Но я не успела отведать ни одной порции лазаретного снадобья, даже не ступила на плавный спуск по ту сторону двери. Я предпочла сигануть из окошка. Дорога совсем рядом, надо как-то до нее добраться, чтобы хоть не под самой стеной меня подобрали!

До назначенного часа и места встречи с Роландой еще далеко, хочешь не хочешь – придется шкандыбать до дороги с этой дурацкой шишкой… Раз, другой, третий пробую наступить на пятку – ногу обжигает жестокая боль.

Не ходят ноги – поползу на четвереньках. Ползу метров двадцать, пробираюсь сквозь кусты, сбиваюсь, возвращаюсь к каменной россыпи.

Прошла еще вечность – никак не выберусь.

Нога не разгибается – заклинило в суставе, волоку ее, как гирю, держу на весу, а она цепляется за ветки и булыжники. Темень непроглядная. Все последние месяцы я глядела сверху на большую дорогу в бахроме кустов – казалось, до нее рукой подать, доберусь с закрытыми глазами; правда, я вроде не собиралась прыгать, но решимость подспудно зрела. Улыбаясь облепившим воспитательницу товаркам и сжимая скользнувшую в мой карман руку Роланды, я уже мысленно летела, приземлялась и вскакивала – гоп-ля! – веселая и свободная.

Не вынимая руки Роланды из своего кармана, я точно так же влезаю к ней, чтобы ощутить, как ходят под пальцами – раз-два, раз-два – твои косточки, моя Роланда… Мы обе прыскаем в воротник. Вот и корпус, залитый светом коридор, и искушение замирает до завтра.

Ползу. Локти вымазаны землей, ободраны, сочатся кровью вперемешку с грязью, напарываюсь на колючки, больно, но все равно вперед – надо добраться хотя бы вон до того огонька: там у обочины, должно быть, дом…

Путь преграждает железная решетка. Натыкаюсь на нее. Откинуться на спину, закрыть глаза, разбросать руки, как хорошо. Найдут, схватят сонную – пусть. Только бы передохнуть, а там пусть снова унижают и мучают. Хотела на землю – вот и останусь на земле. Может, стена рухнет вдогонку и завалит меня.

Я снова на ногах – точнее, на коленях, – ползу вдоль ограды. Коленка – локоть, коленка – локоть, ничего, приноровилась потихоньку. А в голове прокручивается все назад: если бы начать сначала, без спешки, я бы не бросалась вниз, как ненормальная, а спустилась бы, цепляясь, пока можно, за выступы камней, и прыгнула только тогда, когда под ногой не будет опоры. Да присмотрела бы для падения местечко помягче, потравянистей…

Добралась до виллы с фонарем у входа, ползу вдоль дома по

тропинке, протоптанной в траве, локоть – коленка – локоть… и наконец передо мной дорога, блестящая, с желтой полосой посередине. На обочине металлический щит с козырьком – реклама бензина. Хватаюсь за него так, что он дребезжит, здесь и буду ловить попутку на удачу… Нет, Париж в другой стороне, придется перейти. Шаг – в раскаленное железо, второй – в ватное марево, и я валюсь поперек желтой линии, дави кому не лень. Вот и грузовик – сейчас расплющит в лепешку и намотает на колеса, как раз до Парижа. Глазищи-фары катят прямо на меня.

В десятке метров машина резко сворачивает и останавливается. Скрип тормозов, клацанье дверцы, шаги. А я лежу, распластанная, с закрытыми глазами.

– Девушка!

Чья-то рука неловко и тревожно тормошит, ощупывает меня.

– Если вам не трудно, помогите мне сойти с дороги… Поддержите, у меня, кажется, сломана нога.

Шофер довел меня до подножки грузовика, и я села на нее, спрятав в тень больную левую ногу. Не хочу смотреть. На правую падает свет придорожного фонаря, она вся в грязи, земля засохла на пальцах и толстой коркой налипла до расцарапанного, блестящего от крови колена. Я съеживаюсь, сую руки в карманы и сжимаю в кулаки – под пальто почти ничего нет, так что холод пробирает до костей.

– Можно сигарету?

Парень протягивает мне пачку “Голуаз”, дает огня. Вспышка осветила на миг его лицо – типичный ночной шофер: потная, лоснящаяся физиономия, щетина на щеках и пристальный с прищуром взгляд.

– Как это вас угораздило?

– Я… э, да ладно, что уж теперь… Вы знаете эти места?

– Еще бы, проезжаю три раза в неделю.

Я показываю вбок, где сквозь переплетенные ветки смутно виднеется в свете горящего перед виллой фонаря моя стена.

– Тогда вы, наверно, знаете, что находится вон там…

– Хм… Так это вы оттуда?

– Да, только что. Вернее, с полчаса или час тому назад… Еще не хватились. Пожалуйста, довезите меня до Парижа. Никаких неприятностей, обещаю. До Парижа, а там высадите, и я уж разберусь сама.

– Я бы вас выручил, но… – после долгих колебаний сказал водитель, – куда же вы с такой ногой…

– Не важно. Только довезите, и все. Что бы ни было, я вас не выдам. Честное слово, не выдам.

– Верю, что не выдадите. Но они и без вас докопаются, им это

ничего не стоит… А у меня жена и двое детей, не могу рисковать.

Обеими руками я сжимаю больную щиколотку и пытаюсь спиной оттолкнуться от кабины и встать.

– Нет так нет, поезжайте. Только, прошу вас, не сообщайте ближайшему полицейскому посту. Забудьте об этой встрече, сделайте…

Я хотела сказать “сделайте милость”, но запнулась – было довольно нелепо просить о милости человека, который подарил мне сигарету и десять минут отдыха.

– Погодите, – сказал он, – кое-что я все-таки для вас сделаю: попробую остановить другую машину, частную, может, вас и возьмут… что-нибудь сочиню…

Пусть делает что хочет. Я же хотела только одного: чтобы мне отрезали проклятую ногу и я смогла заснуть и спать, пока она снова не отрастет, а потом проснуться и посмеяться над жутким сном. Писала же мне недавно Сина: “Мне снилось, дорогая, что ты упала с большой высоты, и неудачно, у тебя лилась кровь из ушей, а я ничем не могла помочь, только стояла и плакала… Проснулась, взглянула на твою фотографию и порадовалась, что это не на самом деле и скоро, как всегда по утрам, я увижу, как ты, свеженькая, сияющая, словно новая монетка, идешь по коридору с кастрюлей молока…”

Уж как мы с Роландой смеялись, когда это читали! Сина – моя прошлогодняя подружка, я бы ее уже давно забыла, если б она не засыпала меня мелко исписанными вдоль и поперек и сложенными в десять раз записочками, которые каждый день передавала через одну покладистую девчонку из обслуги… Сина! Мне до смерти надоели ее упреки, повелительные замашки, уверенность в мнимой власти надо мной, снисходительный материнский тон – ах ты малышка, ах ты моя умница…

Познакомились мы в поезде. Вагон разбился на две половины – мужскую и женскую, мужчины пели, женщины молчали и ревели. Я, прижавшись к окну, смотрела, как удаляется Париж, затянутый тройной пеленой: грязного стекла, дождя и моих слез.

– Не надо плакать!..

Как можно тише шмыгнув носом и утирая глаза, я повернулась на голос. Он принадлежал женщине лет тридцати, с черными, похожими на маслины глазами и пучком каштановых волос, улыбка у нее была такой же ласковой, как голос. Слезы мои сразу высохли, я оглядела ее повнимательней, от косынки на голове до мягких тапочек. Из-под сиденья виднелась пара черных лодочек на каблучках – не слабо!

– Сколько? – спросила я.

– Сколько дали или сколько осталось?

– Осталось. Сколько дали – не мое дело.

– Да нет, отчего же? Я не скрываю – всего семь лет.

– Надо же, совсем как мне… Мне мотать еще пять, а вам?

– Ну, это никогда не известно: могут скостить срок, могут заменить условным.

– Э, – говорю, – это все лажа. Я потому и реву – вернее, ревела, – что знаю точно: не увижу Парижа пять лет. Да еще эти кретины распелись! Хорошо хоть их высадят раньше нас.

Мы разговорились, познакомились: как зовут, сколько лет.

– Малолетка! – воскликнула Франсина. – Да как же…

– Нет, извините, совершеннолетняя, правомочная и дееспособная![2] Со всех сторон: с юридической, с медицинской – все в ажуре. Не зря же меня держали как взрослую два года, прежде чем впаять пятерку. Конечно, мне не очень много лет, но там, куда нас везут, старух нет. Насколько я знаю, в тюремных училищах все не старше тридцати – тридцати пяти.

Утром пейзаж за окном поменялся, облез, померк – мы ехали на север. Около полудня поезд остановился – прибыли. Наконец-то сниму туфли! Взять в дорогу тапочки я не догадалась, а пока таскала тюремные сандалеты, совсем отвыкла от каблуков.

“Застегните сандалеты!” – слышала я каждый день два года подряд, так же как “Ну-ка, сотрите тушь с глаз” и “Наденьте сейчас же комбинацию! Свитер на голое тело – это негигиенично”… Интересно, за что будут песочить теперь?

– Вам помочь?

Вот так-то, вместо приказов – просьбы, вместо окликов – вежливые советы. Наша орава высыпала на платформу, и женщины с ангельскими улыбками помогают нам тащить чемоданы, кое-как перевязанные свертки, набитые разным барахлом сетки.

– Давайте держаться друг друга? – предлагает Франсина.

Все складывалось как по заказу: мы попали в один поток, то есть все три месяца положенной новеньким изоляции к нам приходила одна и та же воспитательница. Мы болтали на прогулках через перегородки одиночных двориков или во время дежурств и уборок – на работу назначают по двое, и мы с Синой всегда работали на пару, в одну очередь.

По окончании испытательного срока всех распределяли по группам, мы мечтали об этом дне больше, чем о слишком еще далеком дне освобождения: все плохое останется позади, будем жить в группе, кругом светло и чисто, все опрятно одеты, накрахмалены… в общем, стайка юных пансионерок, овечек, херувимов.

О Сина, зачем эти блаженные мечты сменились грязной

явью? Зачем тебе понадобилось мараться, вместо того чтобы оставить меня невинно утешаться в одиночку? Я заключала пари сама с собой: сколько раз смогу, и считала, ставила крестики. Что делать, молодость и праздность требовали утоления; ты все это знала, и мы вместе смеялись по вечерам, высунувшись из окошек, благо наши одноместные палаты – называть их “камерами” не разрешалось – находились рядом и не было решеток; иногда ты меня отчитывала… а потом сама, вместо дружбы, которая была мне так дорога, взвалила на меня свою любовь. Вздумала привить мне свои чувства, пересадить свое сердце…

В общем, Сина спала там, наверху, и видела сны, а тем временем недавнее ее видение сбылось почти в точности: ее милочка – “ушки мои любимые” и т. д. – расшиблась в кровь и медленно умирала у дороги, по которой мне уже не ходить ни с Синой, ни с Роландой, ни с другой, никогда больше не ходить. Скрючившись на подножке грузовика, я не представляла другого исхода, кроме полной неподвижности.

– В такое время машин мало, – сказал, подходя ко мне, водитель грузовика. – Как вы?

– Все так же, не хуже, не лучше. Ладно, поезжайте, я и так уж вас задержала. Все равно меня скоро хватятся и подберут.

Послышался шум мотора, водитель побежал навстречу. Я видела, как в свете фар он размахивал руками посреди дороги. До чего же быстро теперь ездят машины! Забрызгают его, беднягу! Я подвинулась глубже в тень и закрыла глаза. Машина остановилась, хлопнула дверца, послышались шаги и голоса. Через полузакрытые веки я видела, как мой водитель что-то объясняет другому человеку, показывая то на обочину, то на меня… Тот стоял спиной к фонарю и казался густой, контрастной тенью – руки в карманах, поднятый воротник. Они стояли совсем рядом, но я почти ни слова не разбирала: плотный, как вата, туман будто матовым стеклом отделял их от меня, я утопала в нем, погружалась в него, как в сон.

– Ну-ка, покажите ногу, – произнесла темная фигура.

Колено хоть и распухло, но кое-как разгибалось; поддерживая ногу за голень, я оторвала ее от подножки. Но, опуская вниз, неосторожно поставила на пятку и тут же ощутила такую страшную, отчаянную боль, что снова, уронив ногу, рухнула в грязь и темень.

Человек наклонился и включил карманный фонарик, я увидела прямые светлые волосы и два розоватых пятна: ухо и ладонь. Потом он выключил фонарик и вместе с первым водителем пошел к своей машине. Пусть себе уходят. Мне все равно. Я снова потонула в глухой апатии. Дальше все произошло

очень быстро.

Меня обхватили одной рукой под мышки, другой – под коленки, подняли и понесли; мелькнувшее только что лицо теперь плыло прямо надо мной, на движущемся фоне звезд и веток. Руки держали меня бережно и крепко; оторвавшись от грязи, я парила между небом и землей. Парень свернул с дороги на тропинку, сделал несколько шагов в сторону и осторожно опустил меня; постепенно я разглядела толстый ствол, траву и лужи около него.

– Сиди тихо, не отсвечивай и, главное, не трогайся с места. Я вернусь. Жди, сколько надо, – проговорил парень, склонившись надо мной, потом выпрямился и быстро скрылся. Вскоре заработали два мотора – грузовика и легковушки, – скользнули фары, и я опять осталась одна, в темноте и тишине.

Застыла, не шевелясь. Если бы не боль, хорошо бы перебраться поближе к дороге. Уж очень далеко он меня унес – может не найти. Хотя бы на несколько метров, на несколько деревьев. Время есть: я знала, что до ближайшего города сорок километров, сорок туда, сорок обратно. У него в машине еще кто-то был, я слышала голоса: наверно, он хотел довезти и высадить пассажиров, а уж потом вернуться за мной. “Не отсвечивай…” Я усмехнулась. Растянувшись в мокрой траве, носом в толстые корни, я тихо промерзала. А где-то далеко, в щиколотке, бушевала боль, отзываясь пылающими всплесками на каждый удар пульса: там словно завелось новое сердце, не попадавшее в ритм с первым. Над головой, на ровной глади неба сплетались ветки, по дороге изредка проносились машины, все мимо, ни одна не остановится, не свернет на обочину. Плохо дело! Если тот парень не вернется, искать и упрашивать другого благодетеля у меня уже не хватит сил, а утром, не дай бог, меня тут и найдут. О ноге я теперь не беспокоилась: так или иначе ее вылечат. Боль освоилась в теле, разлилась по жилам тяжелой лавой, заполнив все уголки, стала тупой и ровной; только иногда то там, то здесь в плоть впивались острые иголки, заставляя вздрагивать и не давая заснуть. Я мусолила в кармане окурок сигареты, которую дал мне первый водитель, – вся моя добыча… В общем-то не так уж плохо – бычок, настоящий жирный бычок “Голуаз”, хочу – раскрошу, хочу – выкину. Папиросная бумага и спички остались там, наверху. Эх, Роланда, Роланда, у меня есть отличный бычок, а я не могу его выкурить…

Вдруг вспыхнула спичка. Блуждающий огонек, разгоняющий туман. Или это моя пылающая щиколотка освещает тропинку: искры взметаются столбом, пляшут и собираются в мерцающий конус, длинный факел; луч скользит поверх моей головы и

упирается в дерево. Резкий скрип тормозов прорезал темноту или только почудилось и это холод звенит в ушах? Однако луч не исчезает, скользит по коре, вот и второй огонек, послабее, заметался по самой земле. Есть, меня нашли.

Свет погас, и ко мне подошли. Конечно это он.

– Я ведь говорил, чтобы ты не трогалась с места!

А я, выходит, трогалась? Может быть. Я больше ничему не удивляюсь. Кажется, я смеюсь, обнимаю парня за шею…

– Ну-ну… – говорит он, отцепляя мои руки, и достает что-то из кармана куртки. Плоская фляжка и пачка сигарет. Спешить некуда: мы по очереди отхлебываем из фляжки, курим, и при каждой затяжке тлеющие сигареты выхватывают из темноты наши лица. Выпить и выкурить все, пока не кончится, – а там будь что будет. Кажется, я уже снова начала на что-то надеяться.

Парень достает еще какой-то сверток.

– Вот тебе брюки, свитер, а это эластичный бинт…

Действительно, я же почти голая. Сбрасываю свою хламиду и надеваю свитер. Но брюки… Как засунуть в штанину распухшую негнущуюся ногу, к которой невозможно притронуться? Нет, я снова надеваю тюремное пальто и спрашиваю:

– Как тебя зовут?

Мы обмениваемся именами, этого пока хватит, сейчас главное убраться подальше, все остальное – завтра утром. Сначала уехать, и побыстрее…

– Может, хоть бинт намотаешь? Все-таки холодно.

– Ох, нет, ради бога, не надо тревожить ногу. Лучше как есть, ничего страшного.

– Как хочешь. Я посажу тебя на мотоцикл, держись за меня. Если что не так – скажешь. Ты когда-нибудь ездила на мотоцикле?

– Раньше ездила, и очень часто, не бойся. Поехали скорей.

От выпитого коньяка внутри разгорелся длинный огненный язык. Скорчившись, чтобы получше согреться, и свесив ногу вдоль колеса, я обеими руками обхватила Жюльена за плечи.

Так началась моя новая жизнь.

Глава II

Я не раздумывала, когда оттолкнулась от стены и ухнула вниз, потом, когда сидела всю ночь оцепенев и стиснув зубы, было не до того, чтобы как следует во всем разобраться, теперь же, очутившись в светлой кухне, в покое и тепле, я наконец поняла, как здорово влипла, и меня прошиб озноб. Стучали зубы, все тело с ног до головы сотрясалось, дрожала зажатая в пальцах сигарета, дрожал даже стул, на котором я сидела в закутке между плитой и мойкой. Тюремное пальто куда-то исчезло, на мне оказалась мужская пижама и черный вязаный свитер.

Меня усадили на стул, а на другой положили подушку и устроили на ней мои ноги; несколько человек хлопотали вокруг меня: мой ночной спаситель, другой мужчина, покрупнее, и миниатюрная женщина в летах. Я еще плохо различала слова, но по звукам и запахам догадалась, что варится кофе: булькала вода в кофеварке, капали капли из фильтра, и пахло легкой горечью. Нога затихла, точно пес, что долго-долго выл в темном дворе и наконец, впущенный в дом, заснул у печки.

Длинный, по-докторски хмурясь, ощупал мою щиколотку, пожилая дама принесла бинты, пузырьки, поставила кипятить воду.

– Это моя мама, – сказал Жюльен.

Она смыла кровь и обмотала чистую ногу бинтами. Никто не удивлялся, не задавал вопросов, но делалось именно то, что нужно, и все, кажется, находили это совершенно естественным. После перевязки я все тем же манером, на руках Жюльена, перекочевала на второй этаж, на кровать в детской.

– Теперь постарайся уснуть, – сказал Жюльен, чмокая меня в щеку. – Утром я вернусь. И смотри, не высовывайся в окно.

– Мне до него и не дойти!

– Ах да. Ладно, спи. Завтра что-нибудь придумаем.

Он погасил свет и закрыл дверь, оставив узкую щель света.

Моя кровать, маленькая, на подростка, стояла посередине комнаты, справа и слева у стенок виднелись еще две малышовые, низенькие и с бортиками. Я слышала невнятное бормотанье, радостные или испуганные попискиванья, то вдруг всколыхнется одеяло и снова – глубокое дыхание и посапывание спящих детей. Нас трое, трое детишек, а моя спеленутая нога похожа на большую куклу. Потихоньку, по сантиметру, я втащила ее на середину матраса, а правую, здоровую, согнула над ней домиком, чтобы не давило одеяло. Тяжеленная гиря намертво приковала меня к матрасу, нога стала мертвой, глухой колодой, которой не

было дело до меня и до всех усилий воли и мускулов.

Рано утром вошла улыбающаяся молодая женщина в красном пеньюаре поверх ночной рубашки. Подошла к окну, откинула шторы. У нее мое присутствие тоже не вызвало ни малейшего удивления. Потом она стала легонько тормошить клубочки в кроватках, приговаривая нараспев: “Пора вставать…” Мне так захотелось, чтобы и меня вот так разбудили, а я бы вскочила и спустилась на кухню к бутербродам и портфелям, вместе с этими симпатичными малышами, которым их мама велела сказать “Здравствуйте, мадемуазель…”.

Мне стало неловко: откуда ни возьмись свалилось к ним этакое чучело в большущей пижаме, и вообще я не умею разговаривать с детьми. С вымученной улыбкой я тоже приветствовала как взрослых семилетнюю мадемуазель и пятилетнего месье. Разве для меня, привыкшей совсем к другому, эта веселая детская, с разбросанными по полу игрушками и книжками, с голубыми обоями, с большим окном в бледное весеннее утро?

Прошло несколько дней. Каждое утро, когда ребята уходили в школу, Жинетта или мать Жюльена приносили мне завтрак и горячую воду для умывания. Я обзавелась самым необходимым: собственной расческой, зубной щеткой, ночными рубашками и бельем – все благодаря милостям Жинетты; здоровяк Эдди, муж Жинетты, принес с чердака старый радиоприемник, и его поставили около моей кровати, целый день, пока не улягутся малыши, я его слушала, а ночью мучилась бессонницей, перекладывала ногу так и этак и ждала рассвета.

Мытье было сущим наказанием: обтереться до пояса я еще кое-как могла, а дальше приходилось изворачиваться, выделывать самые невероятные телодвижения, примериваясь к стоящему на полу тазу, устраиваться, не опираясь на больную левую ногу и держа ее рукой на весу – от колена вниз она совсем отнялась, – да еще надо было вылить воду в ведро и изловчиться снова забраться на матрас. Вообще по большей части я старалась не тревожить ногу и ползала, ерзала по матрасу, опираясь на колено и на локоть.

И все-таки каждое утро я проверяла, как обстоят мои дела, – пыталась ходить. Садилась на край кровати и вставала, осторожно наступая на больную ногу, пока не становилась на обе. Боль сначала ударяла всполохами, потом собиралась в плотный неподвижный ком, притихала. Тогда я осторожно отрывала от пола правую ногу. На этом попытка кончалась: левое колено шаталось, подгибалось, и я летела назад на кровать или вперед на пол. Что ж, отложим новое испытание до завтра, а пока – снова

в горизонтальное положение.

Частенько я разматывала повязку и глядела, что под ней творится: в первые дни щиколотка и голень слились, и ступня служила основанием конусовидной опухоли, доходившей до колена. Ее украшали пятна сине-зеленых кровоподтеков; уколы и ссадины от колючек превратились в плотную сетку черных корок; попадались и занозы, которые я вытаскивала ногтями. Но скоро опухоль начала спадать, колено стало холодным, твердым и бескровным, как мрамор.

Днем я разгоняла хандру сентиментальными романами, которыми снабжала меня Жинетта, песенками по радио, початыми бутылками, которые любезно подносил Эдди, к тому же меня навещали: кто-нибудь из семейства присаживался на краешек кровати, и в разговорах незаметно проходило время. Или Жинетта, мурлыча себе под нос, пылесосила, двигала детские кроватки и отвечала на учтивые вопросы, которые давались мне со скрипом; при этом меня не оставляло чувство неловкости: казалось, каждое слово и даже мое молчание выдают то, чего я не то чтобы стыдилась, но не слишком хотела афишировать. Я привыкла к любви между женщинами, научилась по-мужски оценивать женскую красоту, насмотрелась на мамаш, которые за привязанностью к детям прятали другие, позорные, далекие от материнства чувства; товарки, оставшиеся там, за стеной, отучили меня от простых и дружеских, пусть даже самых поверхностных отношений. Жинетта же была так не похожа на них, что это ставило меня в тупик.

Зато Жюльену я рассказала все – о прошлом, о будущем, на которое у меня имелись самые определенные планы: встану на ноги и отыщу Роланду. Он появился на третью ночь, я услышала его голос с радостным удивлением и легкой досадой: почему он не сразу пошел ко мне…

В ту ночь, вернувшись за мной и отыскав в темноте под деревом, он сказал: “Мама согласна, – и прибавил: – Только чтоб у нее не было неприятностей, если ты влипнешь”.

И теперь он приехал к маме, а я тут сгорала от нетерпения…

Только когда Эдди с Жинеттой улеглись и уснули, Жюльен открыл дверь и вошел. Он скользил как тень, не зажигая света и ни на что не натыкаясь. Подойдя ко мне, посветил фонариком сквозь ладонь и сел.

Я видела только его темную фигуру и освещенные руки: схватила одну и погладила снизу вверх, до закатанного на твердом-претвердом бицепсе рукава… Четыре года не прикасалась я к руке мужчины.

– Любишь белый ром?

На всякий случай я ответила “да”, хотя никогда не пробовала.

Мы еле видели друг друга в слабом свете лежащего на ночном столике фонарика, разговаривали шепотом, чтобы не разбудить малышей.

Все эти четыре года, из ночи в ночь, мне снилась чья-то тень, я слышала чей-то голос, ощущала присутствие мужчины, которого я всю ночь звала, а утром с яростью отталкивала; большой, сильный, он называл меня “бедный цуцик-бродяжка”, и я никак не могла его коснуться.

“Ей-богу, чего только не приснится”, – говорила я Роланде, и мы обе хихикали, привлекая любопытные или возмущенные взгляды добропорядочных мамаш и примерных жен.

– Расклад был примерно такой: на десяток девок приходилось шесть детоубийц, – рассказывала я Жюльену, – и три дебилки; мы, остальные, держались тесной компанией. Первые три месяца изоляции все вяжут арестантское белье, делают на плотной ткани образцы швов и приклеивают в тетрадки, чтобы было видно, кто что умеет. Вас взвесят, измерят, зададут уйму тестов и только потом запустят в группу. Всякие сношения между группами запрещены: у каждой своя столовая, своя комната отдыха, своя воспитательница. А в мастерских мы работали все вместе, каждый день болтали, успевали сдружиться… Представляешь, какая катавасия начиналась по вечерам: все вопят, перекликаются друг с другом. В одиночке я была по соседству с Синой. Утром воспитательница отпирала дверь. “Здравствуйте, Анна, как спалось?” А я ей: “Отлично, мамзель!” Потом она шла на кухню и торчала там. Тут-то и являлась Сина помочь мне встать… ну, в общем, сам понимаешь… и все надо было в темпе, чтобы не опоздать на завтрак. Иногда, наоборот, я приходила будить Сину, но там было неуютно… в каждой одиночке над кроватью висела полка с ситцевыми занавесками – а как же, домашняя обстановка, – так вот, у Сины вся полка была заставлена карточками детей и мужа. Я предпочитала свой загон, где ни мужиков, ни детишек. Мы любили собираться у меня всей компанией, и все было хорошо, пока не начались эти паскудные страсти-мордасти.

– А когда я сидел… – начал Жюльен.

Я так и знала: это его “не отсвечивай”, бесшумная, крадком, походка – недаром мы с первой минуты поняли друг друга без слов. Жинетта, правда, сказала мне, что ее брат “домушник”, – скорее всего, чтобы я не комплексовала из-за своей отсидки, но я-то признала Жюльена задолго до ее слов. Есть особые приметы, видимые только своим: манера говорить, не двигая губами, изображая при этом или полную невозмутимость, или, наоборот,

крайнюю озабоченность чем-то посторонним, привычка прикрывать сигарету ладонью, откладывать разговоры и дела на ночь – днем все под надзором.

Ром в бутылке убывал, под тихий шепот ночь шла к рассвету. Сесть рядом с Жюльеном я не могла, и нам обоим было удобнее, когда он сгребал меня в охапку, а я клубочком прижималась к его груди, на время забыв о боли.

– Терпеть не могу мужчин, – говорила я, – вернее, отвыкла, разучилась их любить. Вот глажу твою грудь, а ладони сами округляются. Ты такой жесткий, я рядом с тобой совсем раскисаю…

Жюльен заставил меня вспомнить, что такое мужчина.

– Не уходи, не уходи…

– Мне пора. Скоро проснется мама, а я ночую в ее комнате…

– Ну пожалуйста!

– Ладно, еще чуть-чуть.

– Все равно я не сплю. Я тебя разбужу.

Не помню, чтоб я хоть раз спала с самого дня побега. Наверно, ночное забытье мешалось со сном, но и тогда ни на миг не прекращалось мелькание кадров-воспоминаний, не стихали в теле мерные удары отлично отлаженного живого молота. У него были свой ритм и своя цикличность: сначала одна горячая струя с шипением, словно вырываясь из дырявой трубы, наполняла щиколотку, потом начинали бурлить другие, пока не сливались и не прокатывались волной по всему телу. Или иначе: боль занималась в пятке, медленно вспучивалась, разрасталась, раздувалась пузырем, который, вспыхнув, лопался – я уже умела предугадывать этот момент, – так что искры обжигали ступню, добирались до кончиков пальцев и гасли. Тогда можно было перевести дух – между пузырями обычно бывала пауза. Хотя никогда раньше у меня не было переломов, но я явственно чувствовала в больном месте месиво из раздробленных костей и рваных мышц; только при большом умении и терпении можно было все привести в порядок. Если вообще можно…

Чтобы Жюльену было удобнее лежать, я повернулась на бок, приподнявшись на локте, и стала разглядывать в темноте его лицо. Фонарик выдохся, его красноватый глазок чуть теплился, словно горел где-то очень далеко. Волшебная ночь, крепкий ром, ласки Жюльена разбередили мне душу; не выдержав, я прижалась к нему и разрыдалась без слез:

– Не хочу, не хочу…

Жюльен открыл один глаз:

– Что такое, малышка?

– Мне отрежут ногу… А я не хочу! Я… Ты что, не видишь,

копыто насквозь гнилое! Оттяпают – и ходить не смогу.

Могла ли я чего-то требовать от Жюльена? А как же иначе? Он спас мне жизнь, спасет и ногу. Я знала: Жюльен найдет выход и сделает все, что нужно, надо только ждать. Терпеть, сжав зубы, и не скулить: в доме мама, детишки – эти нисколько не удивлялись, находя меня каждое утро и каждый вечер все так же лежащей посреди их комнаты, “доброе утро, мадемуазель”, “спокойной ночи, мадемуазель”, разве что хихикнут да перемигнутся, но никаких вопросов, никакого недовольства… Никто ничего не объяснял им, догадаться сами они не могли – еще малы, но мои глаза отражались в их понимающих глазенках, как в зеркале. Единственное, что я старалась скрыть от них, – это свою страшную, раздутую колоду.

– Еще несколько дней, – сказал Жюльен. – Потерпи. Я ищу тебе крышу. Найду – и мы тебя починим. Но пока слишком рано, и здесь слишком близко. Они прочесывают все, включая больницы.

Жюльен пропадал на несколько дней, потом появлялся среди ночи и снова испарялся утром.

Я уже ничему не удивлялась, ни о чем не спрашивала. Отрешилась от времени, от самой себя и безучастно принимала еду и питье, разговоры и радио. Все шло своим чередом: шш-шш – приготовься, сейчас лопнет пузырь; бум-бум – ребята пришли из школы, скоро Эдди принесет бутылку, и я высосу ее до дна, чтобы притупить боль до утра, до того часа, когда запахнет жареным хлебом и мне дадут гренки и большую чашку кофе.

Прошло еще две недели. Я бежала незадолго до Пасхи, она наступила, но никакого воскресения не было, не было вообще ничего: ни жизни, ни смерти. До встречи с Роландой оставалось еще несколько месяцев. Я рассказала про нее Жюльену, и теперь каждый раз, выпуская меня из объятий, он смеялся и говорил:

– Ну как, это не то, что с твоими подружками!

Или утешал:

– Не психуй, явишься, как обещала. В случае чего, я тебя доставлю.

– Хороша я буду на костылях!

– Подумаешь, посадим в машину… Но увидишь, через пару месяцев ты будешь скакать, как козочка. Тогда делай что хочешь, – прибавлял он, – и запомни, ты мне ничем не обязана. Наоборот, это я свинья, что стал с тобой спать.

– Вот еще, ты же меня не принуждал… И вообще, что за важность? Все равно ты мне как брат.

– Брат!.. Вот если бы я пришел к тебе с этим потом, когда ты была бы уже здорова и сама себе хозяйка, тогда другое дело. А

так…

Через открытое окно лился легкий апрельский воздух, пронизанный пасхальным звоном; мы болтали и пили – Жюльен приехал рано, в кои-то веки, и принес мне аперитив. С лестницы тянуло жареным мясом и пирогами, мне хотелось есть и пить, хотелось встать с опостылевшего матраса. И тут как раз Жюльен спросил, не хочу ли я пообедать для разнообразия со всеми вместе.

– Хотеть-то хочу, но… У меня нет шмоток…

– Подожди, я схожу спрошу у Жинетты, может, она что-нибудь даст…

И вот я готова к выходу в свет: смазала кремом пересохшую физиономию, напялила старый свитер и юбку, всунула единственную здоровую ногу в единственную тапочку. Жюльен отнес меня вниз, на кухню, и усадил за стол, между собой и матерью. Стол был круглый и небольшой. Я передвинула стул и уложила свою запеленутую культю Жюльену на колени. Весь обед он придерживал ее рукой, слегка прижимая и покачивая, чтобы было не так больно. В сидячем положении болело по-другому: сломанный сустав зажимал сам себя, словно тисками, как будто давила скособоченная чугунная болванка. Но я смеялась и ела наравне со всеми: никакая нога, как бы она ни болела, не должна была испортить Пасху; под столом, в компании ног здоровых, она тоже здоровела. Перед сладким мальчуган, с важным видом и не поперхнувшись, затянулся сигарой Эдди. Эдди держал его на коленях, одной рукой обнимая мать, другой – Жинетту, которая, захмелев, трещала и хохотала без умолку. На блюде остались только куриные кости и горстка горошка; на столе, среди огрызков, рюмок и скомканных салфеток, ждал своей очереди пирог. Но я еще не наелась, ведь это для меня первое угощение за несколько лет. Все это время была просто жратва, обыденное, привычное средство когда скоротать, а когда и выгадать часок-другой. Я была освобождена от вечерних занятий по программе начальной школы и, пока другие сидели на уроках, готовила ужин.

Курс домоводства пошел мне впрок: четверть часа – и со стряпней покончено. Оставалось еще полтора часа свободного времени. Тогда я вылезала из окна кухни и гуляла по верхнему двору или навещала подружку, которая, прикинувшись хворой, не пошла на уроки. И уж мы находили чем заняться.

Плохо ли: пока воспитательницы нет, хозяйничать на кухне, а когда она придет, заглянет в кастрюли: “М-м-м, как вкусно пахнет! Что сегодня на ужин, Анна?” – улизнуть наверх.

По воскресеньям воспитательница обедает за одним столом с

подопечными. После мессы – немножко танцев, письма домой, а потом – наесться до отвала Аннинога варева. Пообедали – и на прогулку, это полезно для пищеварения. Топаем, отдуваемся (ты топаешь, дружочек Роланда, а вот я уже не ходок!), отяжелев от плотной пищи, глядишь – уже ужин, а там еще поесть – и на боковую, слава богу, одной неделей меньше.

Жратва – это святое, мы все старались при случае стянуть из кладовки сухари, придушить на птичнике парочку кур, пока не подошло время ежеквартального учета, сварить их, разделить на всех и слопать втихаря; посылки из дома тоже шли в общий котел. “Спасибо, мамочка, говорят, твои жареные голуби были недурны”. – “Если ты передашь мне клубочек ниток, дорогая, я спущу тебе через окошко что-то вкусненькое”. – “О, мадемуазель, моя кружка всегда неполная, кто-то у меня отливает, а я работаю, мне нужно молоко!”

Все одно и то же: жратва, скулеж, тоска, мерзость. Даже заготовленная для особых случаев “настойка” была не такой забористой, как это “вольное” вино – я мигом захмелела. Захотелось вытянуться, взлететь, накатило сладкое блаженство. Я пихала ногу Жюльена: пойдем наверх, оторвись от этих нескончаемых семейных разговоров, я здесь чужая.

До постели меня провожала целая свита: подвыпившие и потому преувеличенно серьезные домочадцы обступили мою кровать, разбинтовали ногу и по очереди ощупывали, пробовали согнуть и разогнуть. И тут я расквасилась: вот она, истина, все яснее ясного, из-за моей перебитой лапы не поздоровится нам всем. Жюльен не кинулся меня утешать, а я только распалялась: забери да забери меня куда угодно, хоть назад в тюрьму, иначе я потеряю ногу, и поскорее – важен каждый день.

– Скоро, – пообещал Жюльен. – И не клейся, пожалуйста, к парню за рулем, он мой приятель.

Куда девался мой нежный Жюльен? Почему он так жесток и насмешлив? Зачем все перечеркивает? Или думает, что я любила его не просто так, а из корысти, платила собой за то, что он для меня делал? Все наоборот: это для меня его любовь была наградой и счастьем.

Наконец в одно прекрасное утро перед домом остановилась машина. С помощью Жинетты я влезла в брюки, запихала в пляжную сумку содержимое тумбочки. Я успела тут прибарахлиться, разжилась бельишком, мылом и снотворными таблетками. Их прописал вместе со свинцовой примочкой и соляными ваннами семейный доктор, которого однажды пригласили, когда я от боли совсем лезла на стену; он определил

у меня “сильное растяжение”.

Растяжение – это просто отлично, и не важно, что как-то не похоже на те, что случались прежде, опухнет, посинеет, поболит сильно, но недолго – денек-другой – и пройдет бесследно, бегай на здоровье. Пусть сильное, все равно растяжение есть растяжение, так дай же я их всех удивлю, спущусь сама по лестнице… ох! ничего подобного, опять грохнулась как миленькая. Коленка – локоть, копыто торчком, как перископ, да поскорей назад, на белый матрасик, чтобы не застали на полу раскорякой.

– Привет, ты готова? Прекрасно. Я за тобой.

Жюльен влетел вихрем, не глядя, чмокнул, подхватил меня под коленки и понес, надев на плечо пляжную сумку. Я повисла на нем, привычно обхватив шею, и окинула взглядом комнату: мой матрасик со смятыми простынями, таз с мыльной водой, детские кроватки, в которых еще спали малыши. Сквозь закрытые ставни пробивался солнечный луч.

– На улице тепло? – спросила я.

– Даже жарко. И полно машин – сегодня первое мая.

Проводы. Чашка кофе, теплые напутствия, поцелуи. За всеобщим оживлением угадывалось чувство невольного облегчения: слава богу, теперь меня будут лечить, но неплохо и то, что я уеду отсюда… Моим хозяевам эти три недели, верно, тоже показались длинными.

Полиция, конечно, не стала бы искать меня здесь, но могла нагрянуть по Жюльенову душу – ему запрещен въезд в Париж и пригороды – и наткнуться на меня.

– Пусть только попробуют помешать мне навещать маму!

Вот почему Жюльен приезжал по ночам, когда полиция не тревожит мирных граждан, и смывался затемно. Меня укрыли на втором этаже, так что, если ищейки и заглядывали порой для порядка или перекинуться словечком по-соседски (у них не было ордера на обыск), Жинетта с матерью всегда могли с невинным видом предложить им осмотреть дом, а в крайнем случае – мало ли что: приехала кузина и сломала ногу. Правда, всего не рассчитаешь, и, как правило, когда хочешь все предусмотреть, обязательно перестараешься, и все летит к чертям.

Друг Жюльена оказался жизнерадостным, расфуфыренным пятидесятилетним толстяком, вовсе не похожим на видавшего виды матерого уголовника, каким я его себе воображала. Вообще моя голова была набита ложными представлениями: я слишком рано очутилась под замком, чтобы успеть что-нибудь увидеть в жизни, зато много читала, думала, фантазировала. Реальность на

каждом шагу опрокидывала мои иллюзии, вот и сейчас, когда меня устраивали на заднем сиденье, где можно было лечь, я ждала захватывающего, опасного приключения… А на дороге было много машин, в машинах – полно народу: семейные прогулки, на обочине лотки с мясом, торгуют цветами, весенняя идиллия, День ландышей…

Жюльен болтал с приятелем. Я разглядывала его затылок, аккуратно обведенные кромкой стриженых светлых волос уши, выступающий из-под темно-синего костюма краешек воротника: гладковыбритый, румяный, весь в синем; приятель – такой же румяный, выбритый, тоже в синем, но седоватый. Верно, теперь меня так и будут перекладывать с кровати на автомобильное сиденье и с сиденья на кровать ничем мне не обязанные доброхоты, у которых, выходит, я в долгу. Меня это тогда нимало не смущало, я только злилась, так как не могла высказать вслух, что вообще-то не люблю принимать чужие милости, предпочитаю все брать сама и не умею быть благодарной.

Милый мой, нам было очень хорошо в эти последние ночи… в постели, которой я обязана тебе, я хоть как-то могла отплатить… это было так удивительно, и я прятала свое восхищение за притворной небрежностью… получалось так, будто я и девственница, и умелая любовница – все сразу… А теперь конец, мы уехали, спинка сиденья тверже стены, с которой я так неудачно спрыгнула, дверцы ничем не лучше решеток, дорога долгая, меня плавно покачивает в машине, и все, что в последнее время наполняло мою жизнь, постепенно вытеснялось памятью о прошлом, о том, что было до… О другой жизни, которая началась с тех пор, как меня арестовали, – я не сопротивлялась, и она захватила меня, бесшабашно-нелепая, примитивная и гнусная.

В той жизни никто со мной не нежничал, не спасал, не носил на руках, я стояла в тесной темной клетке полицейского фургона или сидела на дощатых лавках. Но все же в жестких рамках каждого дня можно было немножко порезвиться тайком. А новая свобода меня сковала и парализовала.

Глава III

– Ладно, Нини, не дуйся, откупорь-ка нам лучше бутылочку.

– Ясное дело, он рад-радешенек сбагрить нам свою обузу!..

Нини чернявая, костистая и худая как щепка, безгрудая, со смуглым скуластым лицом, маленькими острыми глазками. Женского в ней только завивка да наряд: узкое платье, туфли на толстых, но высоких каблуках. Похожа на марионетку. Как я поняла, до того как подцепить хозяина с хозяйским сыном и матерью в придачу, она была здесь служанкой.

Водитель – он согласился выпить глоточек: “Самую малость, меня ждет жена”, – Жюльен, переобувшийся в тапочки, Нини, ее Пьер и, наконец, я, обуза, – больше в ресторанчике никого не было. Ни одного посетителя. Пусто и мертво, дежурная обходительность ни к чему; с тех пор как заведение закрыли, любезная улыбка и услужливая поза Пьера, видно, валялись, отброшенные им, где-то среди пустующих столиков, под толстым слоем пыли. Из вылизанной, по-деревенски убранной столовой широкая арочная дверь с раздвинутыми занавесками вела в бар; я видела грязную стойку и захламленные полки: пустые бутылки, телефонные справочники рядом с утюгом и корзиной неглаженого белья, груды бумажек, папки, сборники нот… Все это не убиралось, то ли с досады на вынужденное закрытие, то ли в надежде на скорое открытие. В последнем случае достаточно было бы постелить скатерти да смахнуть пыль.

Обстановка производила странное впечатление не то наигранной бодрости, не то уныния; у меня, привыкшей к тесноте тюремных камер, закружилась голова от одного вида столь просторного помещения: примыкающая к бару давно не натиравшаяся танцевальная площадка, оркестровые подмостки с застывшими в черных футлярах-саркофагах инструментами, прислоненными к пианино или к сложенным в штабеля скамьям.

На танцевальную площадку через стеклянную крышу льется свет, и все предметы там вырисовываются четко, как под лучом прожектора. Зал освещен не так резко, солнце проникает сюда сквозь листья и цветы: вся терраса уставлена горшками и вазами, заменившими столики, за которыми раньше можно было выпить стаканчик на свежем воздухе; за террасой виднелись ворота, дорога, река.

– Здесь можно купаться? – спросила я, чтобы хоть что-нибудь сказать. – Когда живешь в двух шагах от воды, наверно, приятно с утра окунуться?

– Там сплошная тина, – ответил Пьер. – Правда, много раков.

Ну и клиентов приманивает: прокатиться на лодке или вот, аккордеон послушать…

Не договорив, он взял свою шарманку, нацепил и, лениво растягивая мехи, стал наигрывать беглые арпеджио. Должно быть, ему было очень жарко: он сидел в одной майке, обтягивавшей его жирное брюхо, подмышки вспотели, лоб блестел.

– Вы играете?

Я добросовестно объясняю: когда-то училась на скрипке в провинциальной музыкальной школе, проходила сольфеджио, теперь уж давно не играла, потеряла форму, но…

– Слышишь, Жюльен, – перебивает меня Пьер, откладывая распяленный аккордеон, чтобы промочить горло – две капли ликера на стакан воды, мутновато-зеленоватое пойло раскаявшегося пьяницы, – притащи ей скрипку, пусть себе пиликает хоть целый день! Кстати, если попадется магнитофон, не забудь про меня, ладно? И велик для Нини…

Жюльен, развалившийся в кресле, вытянув ноги, промурлыкал “угу”.

В свойском, понимающем тоне хозяев сквозила подобострастная корысть: тут было и уважение к профессионалу, и снисходительность к приятелю, которого пришлось выручить. Как-никак они согласились взять на себя заботу обо мне, зная все или почти все – Жюльен представил меня “малолеткой в бегах”, не уточняя, откуда я сбежала: из тюрьмы или из дома, – значит, шли на риск. Пьер подчеркивал это под любым предлогом, намекая на возмещение прошлых и будущих убытков в случае моего неминуемого, по его мнению, ареста и привлечения его, Пьера, как сообщника.

– Знаете, – перебила я, – когда четыре года назад легавые… то есть…

– Вот пожалуйста, – бодро подхватил Пьер. – Давай-ка уговоримся сразу: у меня ребенок, и никаких таких разговоров при нем быть не должно.

– Но сейчас его здесь нет!

– Вы бы и при нем сказанули то же самое. Так что привыкайте: никаких “легавых”, никаких “тюряг”. Ясно?

Похоже, я опять угодила в клетку!

Впрочем, это лучше, чем расспросы. И я тут же зареклась про себя: ни слова сверх самого необходимого, пусть язык у меня отнимется, как отнялась нога, меньше будет хлопот.

Должно быть, превращению Нини из прислуги в хозяйку немало способствовали ее кулинарные способности: цыпленок так и таял во рту, мороженое, наоборот, не таяло, а торт был просто воздушный. Хозяева запивали еду минеральной водой из больших

бокалов. Жюльен наполнил и наши, хотя за такую плату, кажется, можно было бы рассчитывать на что-нибудь покрепче.

Я пристроила ногу на перекладине под столом – в вытянутом положении она меньше ныла и не так часто дергало пальцы.

Да и не так сильно, раз – и все, к тому же можно заранее приготовиться, стиснуть зубы, не переставая улыбаться и глядя в одну точку. Мой вид вполне подтверждал заключение специалиста: “Сильное растяжение, но каких-нибудь пару недель, и…”

Уйдем мы когда-нибудь наверх или нет, Жюльен? Я объелась, меня разморило. Конечно, не худо бы поговорить с хозяевами, как полагается приличной гостье, расположить их к себе, да ведь мы наверняка не сойдемся, не поймем друг друга: я – мертвый груз, сданный им на руки, и мы не чаем, как бы поскорее избавиться друг от друга. Но только моя нога знает, сколько им предстоит держать меня.

– Хочешь спать, малышка? – шепчет Жюльен.

– Не очень, но мне надо…

Весь обед я робко ерзала на стуле, точно девочка, которую посадили за стол со взрослыми; если бы я могла встать, спокойно, достойно сказать: “Простите, я сейчас”, – и непринужденно пройти в дальний конец танцзала, к дверце с неосвещенной, но ясно различимой надписью “Туалет”!

Пришлось Жюльену великодушно отнести меня.

– Справишься сама?

– Не бойся, в дырку не свалюсь.

Между тем я была недалека от этого: в уборной надо было присесть на корточки, что с одной ногой не слишком удобно. Я оперлась руками о стенки, но пальцы скользили по гладкому кафелю, пришлось опуститься всей тяжестью за здоровую пятку, да еще мешали спущенные трусы.

– Долго еще, Жюльен? – спросила я, снова обхватив его за шею.

– Еще немного – и пойдем отдохнуть, вот только глотнем кофейку. Что поделаешь, такие уж люди, потерпи! Но особенно напрягаться не придется: у тебя будет своя комната, приемник, еду будут приносить в постель, и беспокоить тебя никто не станет. Раньше у них тут было что-то вроде гостиницы…

– А теперь они сдают комнаты втихаря и втридорога. Я поняла. Можешь нести меня к столу, я буду паинькой.

Наконец после затянувшейся кофейной церемонии – рюмочку коньячку напоследок, да еще одну вдогонку – я, как новобрачная, впорхнула на руках Жюльена в мое новое жилище. Типичный номер в посредственной гостинице: облезлое, но глубокое кресло,

холодная батарея, раковина с краном – горячей воды, естественно, нет, – кровать с цветастым – разумеется, не в тон обоям, – покрывалом, слишком высоко, как водится, подвешенное зеркало и пожелтевшие, заляпанные газетные листы на полках в шкафу. Я старательно разложила свои нехитрые пожитки: при ближайшем рассмотрении Жинеттины брюки оказались изношенными до дыр, ну да ладно, главное, занять место хоть чем-нибудь.

Курево и спички я положила на стул в изголовье и начала раздеваться. Жюльен закрыл дверь на ключ, лег на кровать, не снимая рубашки, и тут же уснул. Я заметила эту его способность мгновенно погружаться в сон, еще когда он делил со мной детский матрасик; бывало, скажет “спокойной ночи” и отключается, прежде чем я успею ответить. Тогда я принималась кончиками пальцев обследовать его тело – ведь я ни разу не видела его толком, хотя только что оно снова на несколько минут было моим. Как же мало это значило, какой крохотной царапинкой было на броне нашего – моего и твоего – одиночества.

Я прижимала ладонь к груди Жюльена и шепотом задавала ему разные вопросы, иногда он отвечал, иногда просто разговаривал во сне, а я, нагнувшись, вслушивалась и ужасалась разделявшим нас неизведанным пластам.

Однажды ночью Жюльен проговорил:

– Я вижу тебя… Ты бегаешь по лужайке в клетчатом сине-белом халате.

По будням мы носили в тюрьме халаты в синюю и белую клетку. Но Жюльен никак не мог видеть меня в этом наряде, а я ему не рассказывала.

– Но ты же никогда не видел, как я бегаю, – сказала я спящему.

А проснувшись, Жюльен хохотал до слез:

– Это не мне, а тебе приснилось…

Что будет дальше, я не загадывала: может, очень скоро и очень быстро я вернусь в прежнюю колею, все пойдет так же, как там, за стеной, а эти две недели останутся в памяти как чудо, как вспышка нежданной нежности, как эскиз недописанной картины; я найду свою драгоценную подружку и буду делить с ней дни и ночи, пока все это не наскучит, не надоест и не исчезнет, словно пролистнешь странички дешевого буклета и возьмешь в руки другой такой же… А может… может, я долго-долго не покину рук Жюльена, не важно, останемся мы любовниками или нет, но нить, соединившая нас в ночь черных деревьев, будет тянуться и тянуться, становясь все прочнее и скручиваясь все туже, – нить от

него ко мне и от меня к нему…

Впрочем, нет! Жизнь обрывает все нити, не пощадит и этой.

Впервые я не хотела знать, чем кончится и даже как будет развиваться то, что со мной происходит. Так хорошо сидеть в кресле раздетой и смотреть на спящего Жюльена; так бы замереть, пригревшись, и слушать ровное двойное дыхание; не размениваться на слова, поступки, ибо все они лгут; только эта минута истинная, живая, и я хочу превратить ее в вечность…

Но время не желает стоять на месте, снова роятся в голове вопросы и желания; что ж, я встаю, опираясь о шкаф, чтобы преодолеть огромное расстояние в два метра, отделяющее кресло от кровати. Полпути ковыляю, оттопырив больную ногу – с пятки на носок, с пятки на носок, ни дать ни взять веселый бибоп на воскресной вечеринке, – а там бросаюсь рыбкой, руки вперед, чтобы уцепиться за край матраса. Подтягиваюсь к подушке и в упор разглядываю лицо спящего крепким сном Жюльена; не хватает жестокости разбудить его, а нежность и ревность так и разбирают: проснись или возьми меня в свой сон.

К ужину мы снова спустились в столовую. Время шло, скоро меня отнесут на место, уложат, поцелуют и оставят одну. Жюльену надо назад, в город, где он будто бы работает. Он вернется “очень-очень скоро”… Я чуть не плакала и закапала Жинеттин свитер яйцом; вздумалось же Нини подать на ужин яйца всмятку – тянучие, липкие, – терпеть не могу эти ваши яйца и вообще не хочу есть. Жюльен, не уходи так быстро, дай я хоть захмелею.

– Нельзя ли еще рюмочку этого чудесного коньяка? – умильно прошу я.

– Хм… не многовато ли вы пьете? – хмурится Пьер. Его сынишка тоже сидит за столом, и Пьер, как добрый папенька, печется о нас обоих. Конечно, я еще тот подарочек – хромая, угрюмая, оборванная, да еще и выпивоха. Я сжимаю рюмку: мой коньяк, горячий, прозрачный янтарь, мой покой и сон. Жюльен берет бутылку со стола и уносит меня наверх вместе с ней, а там ставит рядом с кроватью, чтобы я могла дотянуться. Ну вот, я уже не вижу Жюльена, не вижу и не увижу ничего до самого утра.

Прошла еще неделя. Восторг от поездки по залитой солнцем весенней зелени прошел. Май стоял холодный, знобкий, в комнате пахло сыростью. Я сидела, укутавшись в ничейную замшевую куртку – она принадлежала Жюльену, его приятелям, мне, словом, кому понадобится. Оставаться в постели было нельзя. Первый день после ухода Жюльена я продремала в одиночестве, а вечером Нини принесла мне на подносе вкусный и

такой обильный ужин, что его хватило бы не на одну, а на трех оголодавших девиц. Я и набила живот за троих, правда, не столько от голода, сколько от скуки. На другое утро на подносе красовались большая чашка кофе с молоком и тарелка с разложенными в кружок бутербродами. Нини угодливо спросила “как спалось?”, включила радио и открыла окно.

Я уплела все под музыку и снова заснула.

Но днем явился Пьер, с пустыми руками.

– Обедать не собираетесь?

– Э-э… с меня вполне хватит одного раза в день, когда-то я так и жила и легко привыкну опять… Нет, спасибо, я лучше подожду и обойдусь тем, что принесет Нини.

– Ну вот что, это, конечно, прекрасно, но моя жена – не прислуга…

(Что верно, то верно, это у нее уже в прошлом.)

– …и, по-моему, вы могли бы спуститься к общему столу. Я отнесу вас.

Конечно, такое блюдо, как вчера, нести тяжело, но все же легче, чем меня. Впрочем, я решила не перегружать мозги Пьера логическими выкладками и предпочла ответить, что доберусь до своего бифштекса самостоятельно.

Так что теперь, проглотив утренние бутерброды, я джазовым шажком подтанцовывала к умывальнику, мылась леденющей водой, одевалась и, кое-как застелив постель, усаживалась, вытянув ногу, – она затекала и болела все больше. До полудня я коротала время с помощью старых журналов, радиопередач для домохозяек и сигарет и истекала слюной. Без пяти двенадцать съезжала на заднем месте по лестнице и хромала через бар – уже прогресс: нога сама сгибалась в колене – на кухню. С тех пор как смели крошки после пира в честь прибытия, в столовой не накрывали ни разу.

Слабоумная и немая мать Пьера, сам Пьер, килограммами поглощавший “диетическую” пищу (горы салата, гигантские антрекоты, литры минеральной воды), Нини, жующая не отходя от плиты, где поспевало следующее блюдо. Каждый сам по себе, неуютно и тягостно; я заталкивала в себя еду, утешаясь тем, что это единственная обязанность, с которой я в состоянии справиться. Придет время – посмеюсь, вспоминая об этих чудовищных порциях, но пока надо поскорее встать на ноги, начать ходить. Когда-нибудь все это станет отличной затравкой для веселья, но сначала пусть восстановится костная ткань, поэтому приходилось обжираться, безропотно поглощать кальций, который Нини подавала в виде молочного супа с вермишелью, приговаривая:

– Очень здоровая пища.

Запас кальция исправно накапливался, запас юмора тоже. А перелом… давно бы пора ему зажить, в чем же дело! Пусть неправильно, но кость должна уже срастись и хоть со скрипом, но выдерживать тяжесть тела. И потом, мне надоели нотации Пьера. “В жизни нельзя быть размазней, надо иметь силу воли”, – изрекал он, глядя поверх моей головы; надоели старые журналы и молочные супчики.

Нини дала мне мужской шерстяной носок, и я натягивала его поверх эластичной повязки, чтобы согреть синие, холодные, помертвевшие пальцы; после обеда она ставила на пол таз с горячей водой и растворяла в ней крупную соль, чтобы я отпаривала ногу; правда, тут у нее был и свой интерес: подержать меня внизу, пока она без помех пропылесосит мою комнату. Но нога не желала оживать.

На седьмой день я оступилась и скатилась кубарем с лестницы. Встать даже и не пыталась – не все ли теперь равно! Так меня и нашла Нини: я сидела, обхватив щиколотку, зажмурясь и глотая слезы.

– Почему же вы меня не позвали? Очень больно?

– Да, – прорыдала я, – ужасно больно, и я больше так не могу, пожалуйста, Нини, сделайте что-нибудь, я же потеряю ногу!

– Звонил Жюльен, – сказала Нини, – он собирается заехать сегодня днем. Но мы не станем его дожидаться. Нельзя же вас так оставить – я вызову “скорую”. Ну-ка, обопритесь на меня, вот так, а теперь ложитесь и лежите. Пьеру я потом сама все объясню.

Пьер в тот день, по его выражению, “ишачил” на заводе, так что в нашем распоряжении было добрых два часа. Я притворно отнекивалась:

– Но это так рискованно! И как я назовусь в больнице? У меня никаких документов…

– Скажем, что вы моя сестра, – решила Нини. – Я вас вырастила и отвечаю за вас, идет? Не забудьте… не забудь говорить мне при санитарах “ты”. Ну, я пошла звонить в “скорую”.

Когда я собрала свои пожитки, раздалась легкая, кончиками пальцев, дробь в дверь.

– Входи, Жюльен, – уверенно сказала я. Нини твердо барабанила в дверь костяшками, Пьер поворачивал ручку и входил без церемоний. К тому же Пьер “ишачил”… “Не думай, Жюльен, – оправдывался он, – я не подался бы в работяги, не будь у меня жены и сына. Мог бы делать дела не хуже тебя”.

До приезда “скорой” нам хватило времени на любовь.

Глава IV

– Вы сегодня что-нибудь ели? – спросила сестра.

– Кофе с молоком и пару бутербродов.

Опять о жратве! Только и слышу. А лечить меня собираются?

– …и есть мне совсем не хочется, – добавила я.

– Тем лучше, потому что теперь придется поголодать. Через час вам проведут медикаментозную подготовку.

– Что-что?

– Ну, подготовят к операции. А пока я побрею вам ногу.

Молоденькая изящная сестра говорила убедительно и участливо, а варварский медицинский жаргон применяла так же, как бритву: очень старательно, вкладывая во все, что делает, свеженькие знания и нерастраченное сострадание. Я бы с радостью предоставила ей выбрить все тело: наконец-то за мое лечение взялись всерьез. Но меня тут же прошиб страх, и я стала заклинать Господа, чтобы у меня не оказалось чего-нибудь уж слишком серьезного.

С кровати в карету “скорой” санитары перенесли меня на сидячих носилках, когда они ставили их, мягко и бережно, я ощутила легчайший толчок, как при остановке роскошного лифта: пум! – словно меня принимала не земля, а сто слоев мягкого бархата.

В приемном покое меня переложили на стол срочного рентгена: один санитар подхватил меня под мышки, другой поддерживал ногу. Нини стояла рядом, прямая, будто аршин проглотила, скорбно поджав губы и стараясь не выпускать моей руки; полно, дорогая “старшая сестрица”, ваша ладонь так безучастна, будет уж ломать комедию! В регистратуре записали с ваших слов все как надо, ваше присутствие больше не требуется, ступайте домой.

Но Нини пристала к одному из белых халатов и с хорошо разыгранной тревогой в голосе атаковала его вопросами:

– Ну что, доктор? Это серьезно? Надеюсь, вы не оставите ее в больнице?

Лежа под резкой лампой, я приподнялась на локтях, чтобы расслышать ответ.

Заметив, что я смотрю ему в рот, врач взял Нини под руку и вышел с нею вместе. Долго еще мне валяться на этом нечеловечески жестком железном топчане? Всюду торчали какие-то непонятные штуки: ручки, трубки, коробки, что-то урчало, звякало; эти звуки и прикосновение теплой, глянцево-серой поверхности одновременно и тревожили, и успокаивали. Я

перешла некий рубеж, начало дня осталось за глухой стеной, жесткий стол принял меня, как тихая гавань, суля благостную передышку и надежду.

Вернулась Нини, одна, без врача. Строгое выражение на ее лице сменилось озабоченным.

– Может быть, придется отнимать…

Я не спрашивала – что. Тишина стала оглушительной, в горле застрял крик, я уставилась на свою несчастную ногу, мертвую, почерневшую; значит, ее отрежут и выкинут. Я вдруг остро поняла, как дорога мне каждая клеточка плоти, каждая капля крови, я вся – плоть и кровь, все мое тело – одна разделившаяся и до бесконечности размножившаяся клетка, так что лучше умереть, но остаться целой, чем дать себя расчленить.

Правда, мысли о смерти, об ампутации не проникали в глубь сознания, оставались чем-то далеким, почти забавным; точно так же, готовясь разжать пальцы и ухнуть со стены, я подумала “разобьюсь насмерть” – подумала, не веря. Вот и теперь угроза все еще казалась чем-то ненастоящим, известным с чужих слов, из чужого опыта; живым, реальным было другое: как совсем недавно я носилась почем зря, как еще сегодня утром меня ласкал Жюльен.

Да, но чем не реальность вот эта черная, гноящаяся культя? Уж ее-то я знаю не с чужих слов, она моя, и только моя. Я и сама списала и отшвырнула ее до всяких докторов, мое добро – что хочу, то и делаю, но им такого права давать не желаю. Хочу и держусь за свое гнилое копыто. Одно из двух: или пусть его починят, или я сгнию с ним вместе.

В палате стояло шесть кроватей, занято было только четыре.

– Можно мне сюда? – спросила я, указывая на ту, что была дальше всего от двери и ближе всего к умывальнику.

Ну, наконец-то. Здесь я как все, не размазня, не мертвый груз: в этой палате ненормальными показались бы Нини и прочие здоровые люди, я же здесь на своем месте, подхожу по всем статьям, теперь я – больная с пятой койки, и моя раздробленная нога – в порядке вещей.

Более того, ради нее меня здесь и держат, она дает мне право на уход и улыбки сестер, ведь у меня такой шикарный перелом, особая заслуга.

Сквозь простыни ногу припекало солнце. Ни разу, с самого побега, мне не было так тепло. Иногда, от коньяка или от ласк Жюльена, по телу прокатывалась горячая волна, но сразу же остывала, и снова меня облепляла холодная вата. А здесь согревал, скользя по одеялу, солнечный луч, ровным жаром дышала батарея – хорошо и почти не больно.

Постель была постелена по-особому, матрас с валиком-подголовником накрыт простыней, поверх первой простыни – вторая, сложенная пополам, вроде пеленки; сверху на мне простыня, одеяло, а на нем еще одна простыня, последняя, в синюю полоску, с больничным штампом: настоящий компресс. Подушек – две штуки, но стоит пожелать – дадут три, четыре, десять, на здоровье…

Я перевалилась на правый бок, чтобы взять сигарету с белого двухъярусного столика. Но едва успела закурить, как зашевелилась соседка на койке, стоявшей у противоположной стены перпендикулярно к моей, – молодая женщина, которая могла двигать только руками. Над головой у нее было укреплено зеркало; поворачивая его на шарнире, она могла, не шевелясь, видеть все происходящее в палате. Верно, не очень весело целый день лежать пластом и разглядывать собственную физиономию на потолке. Наведя зеркало на меня, она сказала моему отражению:

– Смотрите, чтобы вас не засекла старшая сестра, у нас тут не разрешается курить… особенно если вас должны взять в операционный блок.

– Извините, я не знала…

– Мне-то что, я сама курю, да и остальные не боятся табачного дыма. Просто лучше это делать в часы посещений. Но сегодня вам из-за этого может стать плохо после…

– А когда часы посещений?

– С двенадцати до двух дня и с шести до семи вечера, а в воскресенье – с обеда до самого ужина. Простите за любопытство, но… Брюнетка, которая вас провожала, это что, ваша мама? Вы на нее похожи.

– Это моя старшая сестра, – сказала я, не моргнув глазом. – Но она меня вырастила, и я считаю ее матерью.

Я не знала точно, куда задевались мои родители: умерли, уехали и бросили меня или тяжело заболели, – чтобы дать исчерпывающие сведения о моем семейном положении, надо было дождаться Нини и уточнить у нее. В приемном покое я назвала свое настоящее имя и настоящий возраст: имя, потому что оно мне нравится, а возраст, потому что врачи все равно определили бы его по состоянию костей, я уже лет шесть как перестала расти, рано развилась, а теперь могла и задержаться, так или иначе до затвердения хрящей оставался еще не один год.

Интересно, придет сегодня Нини? Жюльен обещал позвонить ей попозже вечером. Хотя что телефон? Разве скажешь словами, кто мы друг другу. Но я жду звонка. Надеюсь, а на что, не знаю сама, даст бог, со временем у нас получится… вот встану, начну ходить, и мы вдвоем – нормальная пара, парень с девушкой –

пойдем по улице за руку или под руку, я пройду по улицам с Жюльеном, узнаю, куда ведут его улицы… А пока я откинулась на подушку и закрыла глаза. Остальные тоже отдыхали, упакованные в чудной постельный кокон, вспученный обручами, у некоторых в ногах висел еще и груз на блоке. Все лежали неподвижно, уткнув глаза в газету, вязанье или в пустоту. Бездна тоскливого ожидания нависала над нами.

По коридору с мягким резиновым шорохом катились тележки, где-то играло радио, мелодия прорезала плывущую из окна лазурную тишину. Меня одолела зевота, больница укутала, успокоила меня, как старая нянька: ну-ну, ничего, уже все, где у нас бобо, подую – пройдет.

Но на дверь я все-таки поглядывала. Хоть бы пришла Нини. Мне хотелось видеть знакомое лицо, чтобы не терять связи со ставшим привычным миром; вступая в новый и теряя из виду родные берега, я чуть ли не с жалостью думала о своей покинутой берлоге, темноватой и холодной… не слишком ли здесь много света, всё как на ладони: тень рассеется, и все узнают, кто я… Да полно, даже если бы в эту больницу каким-то чудом дошло извещение о розыске, проверку в ней устроили бы тут же, еще в то время, когда я жила у матери Жюльена. И вообще я сестра Нини, записанная под ее фамилией, такой же безликой, как те, что стоят до и после в списках приемного покоя. Здесь мое настоящее имя – мой диагноз, моя сломанная косточка… как там сказал врач: аст-ра-галь?[3] Жаль, нет под рукой анатомического атласа. Астрагаль теперь заменяет мне и имя, и лицо.

Вошла старшая сестра, толкая перед собой столик на колесах, уставленный коробками с бинтами и пластмассовыми пузырьками с желтой, фиолетовой, бесцветной жидкостями… Описав вираж, она рулит прямо в мой угол.

– В какую половинку укол? – Сестра приготовила шприц и окунула ватку в эфир.

– О, все равно!

– Поднимите рубашку и повернитесь.

Я поворачиваюсь, и рубашка с разрезом сзади сама откидывается, выставляя голый зад. Все последние годы приказ “разденьтесь!” предписывал скинуть все одежки до единой и предвещал строгий обыск; даже после многих месяцев в камере с ежедневным осмотром постели и лифчика надзирательницы с неослабевающей бдительностью обшаривали меня после каждого допроса у следователя. “Поставьте ногу на табуретку. Кашляните… Так”. Поэтому, услышав здесь, в больнице, знакомое “разденьтесь!”, я автоматически обнажилась совсем. Тюрьма въелась в меня, я обнаруживала ее в своих рефлексах: в привычке

вздрагивать, таиться, повиноваться, в каждом движении и поступке. Да и нельзя разом сбросить все, что скопилось за годы скрупулезной муштры и постоянного притворства. Я обрела физическую свободу, но вдруг оказалось, что дух, дотоле мой единственный оплот, стал рабом укоренившихся привычек; напускное смирение переросло в самую настоящую робость; чего-чего, а уж нахальства я в тюрьме набралась, а вот поди ж ты, спрашивала позволения на простейшие вещи и у матери Жюльена, и у Пьера, поминутно повторяла “пожалуйста” да “можно я…” и все старалась держать руки на виду, а если вспоминала, что свободна, то становилась неловкой или нарочито развязной.

Все получалось неуклюже; желая освоиться, я делала промах за промахом; приобретенная опасливость и врожденная бесцеремонность сослужили мне одинаково дурную службу. К тому же я плохо ориентировалась в среде, куда ввел меня Жюльен, ведь в тюрьме я сталкивалась все больше с новичками, а не с настоящими блатными. Чтобы понравиться Жюльену и, ради него, его друзьям, я молчала с умным видом, скрывая свое невежество, или корчила из себя прожженную, искушенную девицу, выражалась языком героев детективных романов или мольеровских “смешных жеманниц”. То и другое выглядело смешно и глупо.

В больнице же я могла наконец не стесняться своей “неопытности” – почти все в палате в таком же положении: все-таки к травмам не привыкаешь, как к хронической болезни, так что астрагаль извиняет любую мою оплошность.

Весь этот поток мыслей нахлынул, едва старшая сестра – очень медленно и туго – ввела мне в ягодицу содержимое здоровенного шприца и снова прикрыла меня одеялом. Я принялась потирать место укола, чтобы поскорей разошлась новая боль – в бедре перекатывались острые бляшки и разливались струи свинца. Постепенно вихрь в голове затихал, как замедляется вращение барабана ярмарочной лотереи, мысли кружились все медленнее, раскачивались на месте, а стены и потолок плыли тяжелой лавой, воздух сворачивался в рыхлые хлопья, опадавшие на пол, глаза затягивались глухими бельмами… Только бы не закрылись совсем – тогда я пропала. Не хочу засыпать, хочу видеть все до конца. Как они собираются меня чинить: под общим наркозом или просто обезболить – в таком случае уже хватит. Я и так ничего не чувствую… Спросить бы. Слева лежит пожилая женщина; когда приходила сестра, она проснулась и с тех пор улыбается и смотрит на меня с участливым любопытством.

– Мадам…

– Да?

– Извините за беспокойство, но я… – начала я тоном “благонравной девушки”, но больше почему-то ничего выговорить не смогла, и вовсе не от робости перехватило горло, я не слышала сама себя, язык распух, не ворочался и не пускал слова, да они и сами распадались, не успев собраться во что-то связное, я забыла, что хотела спросить, все перемешалось, и…

– Не разговаривайте, – сказала соседка. – Закройте глаза и лежите спокойно. Наркоз подействует скорее, если вы расслабитесь…

Значит, меня усыпляют. Ну уж нет, боли я наверняка не почувствую, но сколько хватит сил поборюсь со сном. Надо на чем-нибудь сосредоточиться: ага, вот этикетка на спичечном коробке. Какая-то провинция, вид и название. Э, да я разучилась читать, попробую угадать: у нас в колонии каждая группа носила имя какой-нибудь провинции, всего четыре группы, сестрички заперты, как рыбешки в садке, как спички в коробке… я не сплю, я не усну, не усну, не…

Глава V

– И вот я смотрю на него умильно и говорю со слезой в голосе: “Доктор, мне так бо-о-льно, это просто пытка…” Ну, он и велел снять шину и поставить рамку, чтобы простыня не касалась больного места. Хотелось бы повыше, но и так терпимо. Жюльен, солнышко мое…

Я дрожала от радости и готова была вытащить ногу из гипса, а что, напрячься да дернуть хорошенько – стряхнется, как сапог.

– Ты не представляешь, я просто с ума сходила все эти две недели… О Жюльен, наконец-то ты пришел…

– Малышка… Если б я знал, что все так серьезно. Нини сказала по телефону, что ты лежишь на вытяжении и все хорошо! А оказывается, тебя оперировали, а я ничего не знаю!

Жюльен сидит рядышком, облокотившись на ночной столик и держа одну руку под одеялом на моем бедре.

– Но Нини не приходила уже три дня, а… это все было позавчера. Видишь, к твоему приходу я как раз начала воскресать. Ну а в первую ночь ничего не могла с собой сделать и вопила от боли, пока не прибежала дежурная сестра. Кажется, мне ввели морфин. На другой день тоже было худо и потом всю ночь до самого утра: я притянула колено к подбородку и сжимала гипс изо всех сил, он чуть не треснул… Зато сегодня утром полегчало, я снова увидела божий свет, и… и ты вот пришел.

Жюльен взглянул на часы:

– У нас еще целый час. Давай рассказывай. Все, что с тобой делали.

– Не стоит! – засмеялась я. – Да и вряд ли получится, ведь в самых интересных местах я спала. А так, что же, обыкновенная больничная канитель: утром приносят кофе, в одиннадцать и в шесть – жратву (почти как там, раньше), ну, потом всякие процедуры, перевязки, уколы. Честное слово, у меня зад болит больше, чем нога. Вот посмотри.

Я задрала полу рубашки: от уколов пенициллина, которые мне делали трижды в день, все ягодицы были в синяках и корочках… В больнице каждый почему-то так и норовит выставить напоказ что-нибудь особенно противное: похвастаться швом пострашнее да подлиннее, гипсом потолще, гирей потяжелей. Вот и я, вместо того чтобы привлекать внимание Жюльена к своему лицу или к рукам – они у меня целые и невредимые, – сую ему под нос струпья и кровоподтеки на заднице, да еще жалею, что не могу продемонстрировать место, закрытое гипсом: судя по подтекам на пятке, там должно быть

нечто похлеще.

Ну а Жюльен… Рука его сегодня ласкова, но в ней нет горячности, это рука-сестра, явившаяся навестить больную. Я-то знаю, женщина для него все равно что гитара, штука удобная, но требующая чуткого обращения, она так беззащитна и так хочет петь. В любви Жюльен искусен и нежен, но не отдается ей надолго: согреет по-дружески, приголубит: “бедный мой мурзик-бродяжка”, обнимет, прильнет так же бережно и легко, как гладит… не такая уж я хрупкая, Жюльен!

– Скоро попробую сесть…

До сих пор я еще не решалась, нога покоилась на подушке, подпертая с обеих сторон мешочками с песком. Утром я решила самостоятельно умыться и отказалась от услуг санитарки; она отошла к другим больным, а я принялась обтираться, смывая с кожи липкие, тошнотворные следы физической боли, запах хлороформа и испарины.

Нини мало-помалу пополняла мою экипировку, с тратами она не считалась – все равно платил Жюльен, и теперь у меня был роскошный пеньюар, запас сигарет на целый месяц, косметики – на год, и даже пара кроссовок.

– Выйду отсюда в цветастенькой ночной рубашке и кроссовках.

– Погоди, – сказал Жюльен. – После операции прошло только два дня. К выписке я тебе достану тряпок сколько хочешь.

Уж он “достанет”!

– Шкафы будут ломиться, меняй наряды хоть десять раз на дню. Ну а пока придется обходиться обносками, всему свое время.

Жюльен встал и оглядел палату: у каждой кровати заседал малый семейный совет. Когда приходят посетители, соседки забывают друг о друге, на это время каждая возвращается в свой домашний круг; родственники хлопочут, наводят порядок в тумбочках, поправляют подушки, украдкой распаковывают гостинцы: сладости или что-нибудь питательное; свои не выдадут, а больничное начальство знать ничего не знает.

Ко мне раза два-три в неделю приходила Нини, подкармливала, узнавала, что еще нужно; в остальное время я лежала в одиночестве – сирота сиротой. Чтобы соседки не донимали расспросами и не жалели, я углублялась в чтение или старательно дремала до самого часа Святого Термометра. Каждый день, ровно в четырнадцать часов, появлялась сестра с градусниками в стакане: “Пра-ашу покинуть палаты!” И, чтобы поскорее выпроводить гостей, тут же принималась раздавать всем стеклянные палочки, энергично встряхивая и проверяя каждую. “Температурку!” Больница вступала в свои права, чужим пора

восвояси. Кто-то еще обнимался, кто-то поправлял напоследок цветы в вазе на тумбочке… Надоели, скорей бы уж все они расходились, а мои соседки снова превратились в прикованных к кроватям одиночек, пленниц, обреченных терпеть предписанное лечение и тупо дрыхнуть часами напролет.

– С соседками ладишь? Не слишком донимают расспросами?

– Будь уверен, не успеешь ты уйти, как у тебя начнут гореть уши. Вот эта дама рядом, как видишь, мать семейства, она же бабушка, тетя, свекровь… Около ее кровати всегда набивается целый табор – не протолкнешься. Она слишком рано начала ходить, у нее неправильно срослась кость, и пришлось вставлять штифт. Да что там, мало ли кто по какой статье лежит?

– Ну и что ты им рассказываешь?

– Толкаю целую телегу: дескать, была у сестры, играла с собакой, та рванула вниз по лестнице, на террасу – я придерживаюсь интерьера Пьеровой хибары, – а я, чтобы обогнать ее, выскочила из окна: “Главное, мадам, я ведь прыгала так каждый день – и хоть бы что!..”

Должно быть, я и в операционной выдала ту же басню – на обходе ассистент сказал: “Вот каково играть с собаками!”

– Кроме вас с Нини, – продолжала я, – меня никто не навещает, разве что заглянет кто-нибудь из персонала. Есть тут один молоденький медбрат…

Жюльен легонько дернулся, зрачки его потемнели.

– …так вот, он обещал принести “кодак”. Щелкнуть пару снимков на память, неплохо, правда?

– Ты в своем уме? Забыла, что твои портреты развешаны по всем полицейским участкам? Как маленькая, честное слово! И думать не смей, найди себе другую забаву.

Я обещала, но затаила обиду: лучше бы Жюльен завелся из-за фотографа, а не из-за фотографий… Подумаешь, фотографии!

– Я могла бы потом забрать у него негативы, если это, по-твоему, так важно.

– Знаешь, что бывает за укрывательство преступника? – вполголоса продолжал Жюльен. – Нини с Пьером, конечно, зануды, но они как-никак рискуют ради тебя, и ты должна помнить об этом все время, особенно когда раскрываешь рот.

Сколько можно меня воспитывать! Я не выдерживаю:

– Ладно, не учи ученую… Скажи лучше, кто ты такой?

– Что-что?

– Ну, кто ты мне: брат, сват или кто? Что мне говорить?

Жюльен просветлел, взял в ладони мое лицо, и мы долго-долго смотрели друг на друга, улыбаясь глазами. Жюльен наклонился… Поцеловал… Боже, как хорошо… О Святой

Термометр, позволь сегодня моему гостю остаться здесь, около меня.

Отстранившись, Жюльен произносит с шутливой торжественностью, глядя мне прямо в глаза:

– Ты моя невеста!

Так я и говорю соседкам. Мадам Штифт и мадам Зеркальце поздравляют меня, умиляются нашей молодости.

– Вы чудесная пара…

– Представляю, какие будут детишки: кудрявые, в маму, и с отцовскими глазами… У вас такие красивые волосы!

– Прекрасная партия! Такой обаятельный, такой порядочный молодой человек!

– Он служит?

О да! У него очень хорошее место, приличный заработок. Чтобы оправдать редкие визиты моего жениха, я отправляю его в деловые поездки. И тут же прошу у мадам Штифт ножик разрезать ленточку на коробке с пирожными, которую Жюльен оставил на тумбочке. Поскорее заткнуть кумушкам рты кремом!

Глава VI

Если не считать разносчиков газет и теплых рогаликов, которые проходят по палатам с утра, то весь день, до появления посетителей, мы видим только медиков разных рангов.

Ассистент профессора со свитой ординаторов делает обход каждый день, но что такое ассистент – для нас он пустое место. Мы признаем только самого Бога Отца, того, кто освятил своим именем клинику, оживил нас своими руками или руками своих учеников, начертал своей божественной десницей план операции для каждой. Он изучил по рентгеновским снимкам, проникая взглядом буквально до мозга костей, нашу плоть, пока мы, не подозревая об этом, бессильно лежали на кроватях, он один волен решать, отмерять, отрезать и приживлять, мы на эту кухню не допущены. Мы больше не хозяева своему телу, настанет срок – вернут целехоньким – о благодатная резвость! – но тайны этой метаморфозы мы никогда не узнаем.

Бог Отец обходит палаты два-три раза в неделю. В эти дни санитарка передвигает под кроватями наши баулы, выгребает скопившийся мусор и с особым демонстративным тщанием промывает судна, укоризненно цыкая на нас. До конца обхода о судне и мечтать не приходится. Мы терпим, сжимая сфинктеры из последних сил; разглаживаем каждую складочку по краям простынок, подкрашиваем глаза и губы. Любовь к Нему объединяет нас, мы все стараемся принять позу поизящнее, достаем из тумбочек рукоделие или книжку в надежде привлечь его внимание: вдруг он соблаговолит заметить, кроме перелома, саму женщину, умеющую что-то делать, думать, вдруг хоть на миг оторвется от рентгеновских снимков и посмотрит ей в лицо, а то одарит улыбкой или словечком – тогда на смену болезни и неизвестности придут здоровье и уверенность.

Идет Главный: все бледнеют и краснеют, руки и ноги, больные и здоровые, в нейлоновых чулках и гипсовых панцирях, замирают и раболепно ждут. Старшая сестра задвигает в угол тележку, проверяет, не дымит ли где-нибудь на тумбочке окурок, и занимает пост у ящика со снимками.

Это большой белый сундук на колесиках, с массивной крышкой, где лежат наши истории болезни. Старшая выуживает все шесть “паспортов” и развешивает по спинкам кроватей. По уходе Главного она опять сгребет их в сундук.

Лично я не знаю даже своей группы крови и была бы не прочь заглянуть в свою историю. Но как? Конверт совсем рядом, но старшая не выходит из палаты, карауля, когда появится в

коридоре профессорская свита, и одновременно следя за каждым нашим движением. Сундук не закрывается на ключ, ведь мы все лежачие… Разве что подговорить кого-нибудь из посетителей? Подумаешь, ну застукают меня, большое дело – поинтересоваться собственной историей болезни! Решено: улучу момент, когда Главный задержится у кровати напротив, отвлечет на себя общее внимание, тут-то я, пользуясь тем, что на меня никто не смотрит, и согрешу; успею перелистать и положить на место. Правда, я почти уверена, что все у меня – кардиограмма, анализы, снимки легких – в полном порядке, как же иначе?

– У меня болит вот тут…

– У меня шалят нервы (или бессонница, или запор, или еще что-нибудь).

– Доктор, посмотрите, это у меня не пролежень?

…Что бы вас ни беспокоило и ни пугало, у эскулапа на все один ответ:

– Ну, это нормально!

Пусть мне кажется, будто кровать подо мною ходит ходуном или проваливается, пусть меня скрючило, мутит после еды, в горле ком и пальцы больной ноги торчат из гипса, как бледные сосиски, – все это нормально. Впрочем, не важно, нормально или нет, все фокусы моего злосчастного организма я готова сносить с покорностью и, пожалуй, даже с интересом.

Мне очень хотелось бы знать, как ухитрились сохранить мое копыто, уже приговоренное к усекновению, что за штуковину мне воткнули, пластик или железку, и не зашили ли в сустав какой-нибудь инструмент – может, это он по временам так жутко колет, пронзая меня сокрушительной болью. Каждая инъекция антибиотика напоминает о прививке БЦЖ – ничего больнее в детстве я не знала, – только во сто крат хуже, или о том, как в тюрьме я впрыскивала себе бензин, чтобы выйти из строя. “Если не сработает, – говорила я Роланде, – подложу ногу под доску и грохну табуретом…”

Вот и получила.

Иногда кто-нибудь из больных рискует обратиться к Царю и Богу:

– Профессор… месье…

Он не слышит. Только кто-нибудь из его присных сходит с орбиты и пресекает любопытство ничего не значащей и ровным счетом ничего не проясняющей, но оптимистичной фразой:

– Скоро ли вы начнете ходить? Ну, конечно, очень скоро. Потерпите немножко. Что вам сделали? О, все сделано прекрасно. Красивейшая операция, не правда ли, коллеги?

– О да, – хором подтверждает вся свита.

Я этим восторженным эпитетам не доверяю: чем прекраснее все обстоит, на взгляд медиков, тем серьезнее было и есть ваше положение. Профессионального подхода нам явно не хватает.

Не слишком ли долго Главный задерживается у моей кровати? Перебирает снимки, поворачивается к окну, чтобы посмотреть их на свет, и тут же белые халаты обступают его и отгораживают от меня; он что-то объясняет, но говорит так быстро, так тихо и так невразумительно, что я не могу выловить из потока непонятных слов свою ногу и теряюсь в отчаянии. Я тихо злюсь, обзываю его про себя пижоном; не может быть, чтобы прямо из операционной он явился в таких свеженьких перчатках и халате без единого пятнышка. Отрывистая речь, скупая улыбка – вылитый хирург из книжки.

Но однажды он со мной заговорил: я уже десять дней лежала на вытяжении: пятка проткнута спицей и укреплена под дугой с помощью блока и веревки с десятикилограммовой гирей на конце. С заправленной в железный каркас нижней половиной тела и опрокинутой верхней – изножье кровати приподняли, – я застыла в позе канкана вверх ногами. Каково это мне, привыкшей спать на животе… Соседки утешали: вытяжение, конечно, штука неприятная, но по сравнению с операцией – пустяки, вам повезло, вставили спицу, значит, оперировать не будут. А я бы, пожалуй, предпочла операцию. Мне изрядно осточертело раздираться на дыбе. И вот на десятый день этой муки Главный обратил на меня свой взор.

– Сколько вам лет? – неожиданно спросил он, постучав по спинке кровати моим последним рентгеновским снимком.

Впрочем, ответ он пропустил мимо ушей и, оставив меня в полной растерянности, двинулся дальше вместе со своим роем.

– Пришлите мне родителей этой девочки, – бросил он старшей сестре, записывавшей все его распоряжения.

Когда пришла “сестрица” Нини, я накинулась на нее: надо было назваться моей матерью… ничего, по возрасту сошло бы… а так – где теперь взять родителей… Нини дала мне для успокоения банку клубники со сливками и, пока я поедала ягоды, отправилась на переговоры. Вернулась она сияющая.

– Все в порядке. Я дала письменное согласие, и вам все сделают, как только будут готовы анализы.

– Что сделают? – Я почти кричала.

– Ваша… то есть твоя нога не срастается, мешают осколки, что ли… ну, в подробности старшая сестра не вдавалась, словом, на днях тебе сделают операцию.

Всю следующую неделю я принимала в постели визитеров: рентгенолога, кардиолога, лаборанток с пробирками, – поскольку

перевозить мою кровать со всей упряжью было никак невозможно. Я послушно мочилась, куда велели, голодала по утрам до их прихода – лишь бы не сорвалась операция.

Наконец на шестнадцатый день висения на вертеле меня с утра накачали нембуталом, и в полусонном состоянии я дожидалась, пока меня возьмут под нож. Теперь я уже знала, что делать, чтобы не отключиться до самого начала операции: надо дать сознанию постепенно гаснуть, гаснуть, но оставить теплиться маленький огонек, не думать, а просто медленно перелистывать в уме наплывающие цветные картинки, прикрыть глаза, ни на чем не сосредоточиваясь, ни во что не вникая. Утреннее копошенье в палате шло своим ходом, но доносилось до меня как бы издалека: скрипят тележки, звякают судна, снуют белые шапочки сестер, шесть сортов одеколона сливаются в размытый, отдающий мочой и лекарствами аромат.

Накануне мне удалили спицу, вымазали всю ногу чем-то желтым и увернули в упругий белый кокон. Помня наставления сестры (никакой косметики и сотрите лак с ногтей), я только чуточку подкрасилась – даже если умру, пред очи Господа Бога надо явиться в полной форме.

В десять часов санитары переложили меня на каталку, старшая сестра укрыла одеялом и подложила по белоснежной подушке под голову и под ногу, и вот наконец, посылая кончиками пальцев прощальные поцелуи направо и налево, я поехала, точно королева в паланкине.

Длинными, гнетуще-безмолвными коридорами меня довезли до предоперационной. Тут старшая сестра склонилась – ее лицо вдруг возникло передо мной крупным планом, и я успела заметить, как подобрели ее глаза за стеклами очков, – звучно чмокнула меня в щеку, сказала: “До скорого, деточка!” – и исчезла.

Я осталась одна в затопленном маревом белизны помещении. На краю каталки, у сдвинутых и вытянутых, как у покойницы в гробу, ног, лежала моя история болезни, но до нее было не дотянуться: край каталки – что край света; впрочем, эти бумажки мне теперь не нужны и даром, какая разница – я ведь мертвая: мертвые руки вытянуты вдоль мертвого тела; живая только стена: дышит и колеблется.

Блаженное забытье было прервано появлением ординатора, он замаячил в пустоте огромной гулкой тенью, извергающей громы слов и клубы дыма. Я прекрасно знала, что на самом деле он говорил бархатным голосом и покуривал свою любимую “Голуаз”, но в моем теперешнем восприятии все масштабы сместились.

– Ну что, детка, – проревел ординатор, – как самочувствие? В сон не клонит?

Я хотела ответить “нет”, попыталась взглянуть на него осмысленным взглядом.

Но тут анестезиолог нажал на поршень шприца с пентоталом, и я умерла, оставив одну застывшую руку в резиновой лапе ординатора, а другую – на столике анестезиолога. Умерла под приятное стрекотание в висках, так и не дождавшись появления самого Бога.

Вознесение в операционный блок мне пришлось пережить трижды: после удаления раздробленной косточки осталось пустое место, которое никак не зарастало, так что мне продели еще две спицы, одну сквозь пятку, другую сквозь щиколотку, а четыре торчащих из гипса петли согнули клещами и стянули пластырем. Однажды, когда у старшей был выходной и ее заменяла другая сестра, я наконец добралась до своей истории болезни, приготовленной к обходу сразу после завтрака, и списала отчеты об операциях. Ну и словечки тут попадались: резекция, абразия, астрагалэктомия, артродез…

Жюльен бывал у меня нерегулярно, когда мог. Наступило лето, и он таскал фрукты и бутылки воды, бегал за мороженым для меня и моих соседок. Я возлежала на груде подушек и смотрела: белокурый пай-мальчик, широко улыбаясь, несет в растопыренных пальцах с полдюжины рожков мороженого. Вся палата у него в невестах – кроме меня. А вид у нас самый невинный и трогательный, держимся за руки и воркуем.

– Скорее бы ты возвращалась… Когда тебя увезли в больницу, я остался ночевать у Пьера и спал в твоей постели. Только вошел в комнату и сразу увидел тебя, вдохнул твой запах, ты еще была там…

Я прижималась к его плечу, пачкая крем-пудрой рубашку – пиджак он снял и повесил на дугу; чем меньше одежек, тем острее мы вспоминаем, узнаем друг друга… Каждое свидание – бездна надежды и безнадежности, нет для нас места на земле, наша участь – скитания, тюрьмы, и так всю жизнь, и всю жизнь одиночество.

– Скорей бы ты возвращалась…

– Но я не хочу на старое место!

– Придется… Пока не снимут гипс… Не забудь, что Нини – твоя сестра… Потом уж я подыщу что-нибудь другое… может, в Париже. Постарайся хоть примерно узнать, когда тебя выпишут.

– Кстати, Жюльен, ты узнал про “артродез”?

В прошлый раз я дала ему мои выписки и поручила их расшифровать.

– Да, это значит “фиксация”. Нога не будет разгибаться.

“Могут отнять ногу”, “пришлите ее родителей”, а теперь вот еще “фиксация”. Черные капли заляпали белое плечо; чем больше я плакала, тем больше тушь разъедала глаза, а чем сильнее щипало, тем сильнее я плакала – чертова тушь! Мне больше никогда не подняться на цыпочки, прощайте высокие каблуки. Я останусь хромоножкой, а ты превратишься в костыль калеки, которая никогда не станет такой, как ты, верно, ждал, и ни на что не будет годиться. Будущее пошатнулось, похоже, теперь конец моей лихой удали. А как я покажусь Роланде? Эх, Роланда!..

Мрачные мысли захлестнули меня, и, пока не истекло время посещений, я так и просидела, уткнувшись в плечо Жюльена и тупо хлюпая носом. Жюльен баюкал, утешал меня, подтрунивал над моим горем. На свете тьма хирургов, дай время – найдем тебе самых классных… Глупышка, будешь скакать резвее прежнего.

На другой день я спросила врача, можно ли мне выписаться.

Он просмотрел мои контрольные снимки, откинул одеяло, согнул ногу в колене, ощупал пальцы – теперь они были нормального цвета и толщины, но все еще не слушались.

Врач был похож на какого-то зверя, переряженного мясником: из-под расстегнутого ворота рубахи выбивалась мохнатая шерсть, об ноги бился длинный фартук. Взглянув на меня, потом на бутылку “Монбазийака” на тумбочке, он улыбнулся:

– Вам тут не нравится? Неужели мама разрешает вам это пить? – И прибавил: – Думаю, вас вполне можно выписывать. Надо спросить у Главного, но, по-моему, можно… А снимать гипс придете на прием.

– И… я могу уйти… прямо сейчас?

– Вот этого я не знаю.

Скоро должен прийти Жюльен, он бы сразу меня и забрал… Я стала уламывать старшую сестру. Все знают, что сама она ничего не решает, не согласовав и не подписав у руководства, но перед нами любит разыгрывать важную персону.

В одиннадцать, протягивая мне тарелку с завтраком, она дает позволение:

– Я оформила вас на выписку, вечером можете отправляться. Заказать перевозку или вас заберут?

– Нет-нет, за мной заедут.

Пришла санитарка, собрала тарелки, поставила их на сервировочный столик посреди палаты, стряхнула в ведро объедки, протерла тряпкой пластиковый стол, голубой, как стены, как июнь в квадрате окна. Жаркие дремотные волны лились через подоконник, раскаляя его до потного блеска. Покидаю этот душный рай, кровать на солнцепеке, бегу на волю, выписываюсь

из больницы.

Накануне приходил легавый, искал “несовершеннолетнюю с дорожной травмой”. Он направился прямехонько к моей кровати, так что меня бросило в пот и чуть не отнялся язык, но не успела я досказать свою басню про собаку и окно, как он отошел. Потом я узнала, что девчонка, которую он искал, лежала в соседней палате: попала в аварию на мопеде и повредила коленный сустав. А я-то струсила! Нет, Жюльен прав: сестренку, вроде меня, которую каждый норовит засыпать вопросами – кто из сочувствия, кто из любопытства, – лучше уж держать при себе.

Так и слышу Пьера: “Да эта соплячка заложит нас всех за милую душу”. Ладно-ладно, я возвращаюсь. Но на этот раз фокус не пройдет, теперь у меня есть формальный аттестат – астрагалэктомия и Жюльен, мой Жюльен, перед которым вы, за его бабки, готовы ходить на задних лапках… Если что, заставит вас прикусить ваши ядовитые языки, а там уж я и сама себя в обиду не дам.

– Берешь меня?

Куда – понятно само собой, я научилась не произносить вслух ничего лишнего. Тюрьма, полиция, срок – если поначалу словечки вроде этих срывались у меня при Жюльене хотя бы шепотом, они звенели, будто оплеухи в провалах тишины, так что вся палата – пациентки и их гости – настораживалась и возмущенно оборачивалась в мою сторону. Миг – и все взлетит на воздух: меня опознают, схватят, линчуют… Однако ничего страшного не происходило, мне просто показалось, никто не услышал, никто не шевельнулся. Никто, за исключением Жюльена: его-то зацепляло, по лицу пробегала судорога, скользила тень, эх, Анна, опять оплошала… Что мне делать, чтобы угодить Жюльену? Как увязать то, что я вижу, с тем, что знаю о нем? Я привязалась к вору – буквально: привязана за ногу, – и все в его жизни для меня ново и странно… Жюльен – взломщик? Ничего не попишешь: монеты за мое исцеление добыты в опасных ночных набегах. Если нет страховки, каждый день в клинике обходится что-нибудь около десяти тысяч, да еще плата Пьеру, разные покупки… В общем, золотая нога. И все-таки я не млею от благодарности, потому что знаю, что и сама сочла бы своим долгом сделать то же самое, если бы холодной весенней ночью фары моей машины высветили на дороге человека, которому нужно помочь вырваться на волю.

“Будь на твоем месте уродина или старуха, я бы все равно поступил так же…”

Знаю, милый, конечно. И это было бы куда благороднее. Но что делать, если меня угораздило в тебя влюбиться и если вдобавок такая же беда стряслась с тобой, неужели, по-твоему,

надо ради надуманных дурацких принципов все испортить, от всего отказаться… Но это же чушь! Мы молоды, будем же по-братски нежны друг с другом и забудем, если хочешь, все, что было раньше.

– Эх, если бы не твой гипс, – стонал Жюльен.

Значит, решено: ты меня берешь.

И снова мы у Пьера, то есть у себя, в нашей комнате. Я сижу на полу, Жюльен – на краю кровати. Мы не прикасаемся друг к другу, Жюльен только перебирает кончиками пальцев мои волосы. Страшно жарко. Мы лениво перебрасываемся словами, ведем сначала легкий и приятный разговор – о книгах, о кругосветных путешествиях, не выходя из камеры; потом о вещах более тягостных – об одиноких скитаниях, тщетных поисках… Я отреклась от себя прежней, умерла; в ту ночь, под черными кронами, я умерла и начала счет новой жизни, от прошлого осталось только следственное дело… Фотографии, отпечатки пальцев – разве они живые? А это все, что уцелело, но… черт возьми, уцелело и никуда не исчезнет. А теперь еще это несчастное копыто…

– Пока я на костылях, я могу показываться где угодно. А потом можно будет приделать фальшивый, съемный гипс.

– Ага, а для пущей конспирации надо было бы, чтобы ногу тебе оттяпали, а мы бы вместо нее прицепили на кнопках чулок с тряпьем. Впрочем, чулок можно напялить и сейчас, прямо на гипс.

Я со скромной гордостью посмотрела на загипсованную ногу: она и правда недурна, гуашево-розовая, совсем новенькая, со свежим пластырем на железяках.

– Ну, уж во всяком случае, это лучше, чем было раньше.

От табака сохло во рту, но мы продолжали курить – просто по привычке. Вместо пепельницы Нини выдала нам плоскую стеклянную тарелочку из бара, и она быстро переполнилась.

– Постой, не стряхивай пепел на пол, а то завтра она опять будет нудить. Вот подходящая посудина.

Жюльен вытащил из-под умывальника биде на железных ножках. Туда мы и бросали пепел и окурки, все равно мы уже мылись, и теперь у нас уйма времени, жаркого, густого, стекающего по капле, по минуте, тихо, неспешно, под шелестящий шепот.

Глава VII

Запакованная нога тихо подживала, обещая стать во сто раз здоровее другой, с которой никогда так не возились. Я взяла у Нини вязальные спицы, я изводила по литру одеколона в неделю, таскала с кухни ножи – и всё для нее. Внутри, под гипсом, страшно зудело. Я засовывала туда нож и чесала, а потом заливала спереди и сзади “Шипр” или “Лаванду”. Пьер морщился: “Снова вы надушились!”

Разделавшись с завтраком, я обычно выбиралась на костылях наружу и устраивалась перед домом или за ним. Пьер уходил “ишачить”, Нини занималась хозяйством, а я скидывала пеньюар и ложилась голышом, с закрытыми глазами, на солнышке. Пот стекал на траву, гипс плавился, давил ногу – и тогда я ковыляла в домашнюю прачечную, залезала в бассейн для стирки и погружалась в него, держа загипсованную ногу на бортике. Хочешь не хочешь, а приходилось сидеть враскоряку и следить, чтобы ни одна капля не затекла внутрь: штыри входили прямо в кость, не дай бог, начнется заражение. Мыть пальцы тоже было нелегким делом: они ныли от малейшего прикосновения. Однажды утром я отодрала приклеенный вокруг штыря пластырь, заглянула под него и увидела металлический стержень, торчащий в багровой, шелушащейся, вздутой коже. Подергав, я расшатала штырь с одной стороны, с другой же она держалась как влитая. Каково будет ее вытаскивать, подумала я и чуть не разревелась. Когда же все это кончится!

Не только мне так не терпелось. Нетерпение выражали и все остальные: одни хотели, чтобы я поскорее начала ходить, другие – чтобы поскорее убралась восвояси, Пьер – тот был не прочь подбить меня на маленькую авантюру. Зачем, мол, дожидаться Жюльена?

– Ладно, сейчас вы должны быть недалеко от больницы – это ясно. Ну а потом? Что вы собираетесь делать?

Пьер задумчиво растягивал свою гармошку – взгляд на меня, взгляд в самоучитель, арпеджио, музыкальная фраза. Он сидел в одних шортах, с пояса свисала засаленная подтяжка. На мне тоже только шорты и лифчик – в такую жару позволительно.

– Как – что? Начну ходить, а там уж разберусь.

– Ага. Но пока что вы не ходите. Ладно… Жюльен, наверно, говорил вам, вы ведь знаете, что ради вас он рискует не на шутку. И все это обходится ему в копеечку…

– Не беспокойтесь, мы с Жюльеном сочтемся, это наши с ним проблемы.

Пьеру-то какое дело, нечего соваться, куда не просят!

– Ах, ваши проблемы! Вот как?

Пьер наяривал гаммы вовсю, пальцы его бегали по клавиатуре вверх и вниз – проворные, изящные, искусные пальцы, совсем не подходившие к студенистой, трясущейся от злости туше и перекошенной роже.

– Вы что, не видите, что ваш Жюльен не является уже десять дней? – взорвался он.

– У него работа!.. Да и незачем ему светиться и бывать здесь слишком часто, с его-то делами.

– Те-те-те!.. Гладко излагаете! Ну а что, если его накрыли и он вообще больше не вернется? Это вам не приходило в голову?

Ой, приходило, Пьер, еще как приходило! Я только об этом и думаю. Каждый час, каждый миг думаю о Жюльене, ночами не сплю – все прислушиваюсь, будто заклинаю темную силу, отгоняю грозящую ему беду. Береги себя, Жюльен!..

– Жюльен всегда в конце концов возвращается, – говорю я, пристально глядя на тлеющую сигарету.

– Ну да, помню, как-то мы ждали его к обеду, а он задержался на два года.

– Ничего, на этот раз ему помогут. Я его не оставлю. Сначала, конечно, рассчитаюсь с вами. Но Жюльен платит за несколько дней вперед, так что долг небольшой, еще рано меня теребить. Я же размазня!

(Сам говорил!)

– Да бросьте вы! Положим, вы встанете на ноги – чудесно. Но вы же не захотите каждый день ходить на панель, как я – на свой завод. А вечером разбираться с клиентами, легавыми…

– …и сутенерами, – добавляю я в ответ на нарочито безразличный взгляд, который Пьер устремляет на мою грудь.

Вижу, вижу, к чему он клонит. Когда его забегаловка была открыта, четыре комнаты на втором этаже сдавались уж наверняка не только туристам.

Нетрудно себе представить: вот Нини меняет ветхие салфетки, делает вид, что ищет сдачу в кармашке передника – о, благодарю, месье-мадам. А Пьер за стойкой; в дни получки, когда каждый забежит в бар пропустить рюмочку, он сможет снабжать меня клиентами бесперебойно.

– Не забудьте, мои псы посторонних не впустят, без моего разрешения в дом никто не войдет. Хватит того, что пришлось назвать наш адрес в больнице… Надеюсь, больше вы его никому не давали?

– Я же сказала, что не собираюсь возобновлять никаких знакомств.

– Смотря какие знакомства… Я имею в виду кого-нибудь из больных, из персонала, мало ли…

Теперь моя очередь позлить его.

– Адрес был написан черным по белому на моем температурном листе, который висел на спинке кровати. Кто хотел, мог его записать, я ни при чем. Но все равно почту получает Нини, если что – пусть отошлет письмо назад.

Мне стоило больших усилий не прыснуть со смеху. Знали бы они, что я запустила лапу в их милый бардачок.

По воскресеньям Пьер с Нини уезжали на целый день, вместе с мальчишкой, а мамашу оставляли на меня. Они купили где-то загородный дом, чтобы провести в нем остаток дней, и теперь торопились все покрасить, обставить, огородить, загнать свой дансинг и перебраться туда окончательно.

В субботу вечером Нини готовит еду нам с мамашей – просто-напросто варит картошку и яйца, чистить я должна сама. “Проголодаетесь – в шкафу есть консервы”. А в воскресенье рано-рано утром, когда первые солнечные лучи пробиваются сквозь ставни и я, оставив надежду дождаться Жюльена, собираюсь заснуть, она заглядывает ко мне в комнату:

– Мы уезжаем. Пожалуйста, никого не впускайте и не подходите к телефону. Пока, до вечера!

И уходит, прихватив ключи от комнат.

А я, пообещав не открывать дверь и не брать телефонную трубку, засыпаю и сплю, пока не подходит время поить мамашу кофе. Ну, этой вообще только бы поспать да поесть!.. Целыми днями она просиживает на кухне, безмолвно и неподвижно сложив перед собой землистые, как у покойника, руки, оживляясь лишь при виде тарелок с горячей пищей, на которую она набрасывается как голодный зверь и сжирает, торопливо и неряшливо. Посидишь денек в такой компании – немудрено и спятить.

Единственное, чего Нини не могла запереть, это дверцу холодильника, огромного, ресторанного, в котором поместились бы бычьи туши. В нем хранились бутылки. За спиной у мамаши я намешивала себе самые немыслимые коктейли. Труднее всего было унести стакан: руки заняты костылями. Приходилось ставить его на пол и подталкивать ногами метр за метром до самой террасы. Там, раздевшись догола, не считая гипса, я растягивалась на полу и потихоньку пропитывалась спиртом и солнцем.

К возвращению хозяев я успевала искупаться в прачечной, почистить зубы и встречала их свеженькая, трезвая и умирающая от жажды:

– Во рту пересохло – жарища дикая!

Бедолага Пьер подбивал меня принимать клиентов, а я между тем тайком попивала виски, припрятанное именно для такого рода приемов.

– Мне-то что, – говорю я, – но что скажет Жюльен, если узнает, что стал котом.

– Ну, заладила: кот да кот… Это ведь все слова. А Жюльен будет только рад, он не любит оставаться в долгу… И потом, если я не ошибаюсь, вы с ним не женаты?

Деньги я буду зарабатывать, чтобы погасить долг, и только, иначе он, Пьер, и не взял бы их, а что касается Жюльена, то если уж я вправду считаю его мужем, ему можно представить дело самым невинным образом.

– Что-что, а пудрить мозги женщины умеют!

Итак, приличия не пострадают: Пьер забирает то, что ему причитается. Жюльен знать ничего не знает, а я тружусь для пользы дела, в этом греха никакого нет.

Но мне на приличия наплевать, и я все рассказываю Жюльену.

И даже немного сгущаю краски.

– Дорого мне обходятся эти разговоры с Пьером, еще неизвестно, кто у кого в долгу…

Жюльен явился среди ночи. В прошлый раз Нини пришлось вскочить с постели и открывать ему, а утром, в одиннадцать часов, притащив нам поднос с завтраком, она раздраженно проворчала:

– Больше этот номер не пройдет, хватит с меня! Звоните сколько влезет, хоть до посинения… Я вам не прислуга! Без записки, без звонка в два часа ночи заваливаться! Нет уж, извините, ровно в одиннадцать я запираю ворота и спускаю собаку – у нас так и было заведено, пока мы держали гостиницу.

Что ж, на этот раз Жюльен перелез через забор, приласкал пса и влез в окно первого этажа. Обычно я не запираю двери. Только если вечером у меня нервы на пределе и я злюсь, что сменила одну тюрьму на другую, я запираюсь на два поворота ключа – все-таки приятнее думать, что дверь своей камеры я закрываю сама. Если же вечер заканчивается вкусным ужином, желудки дружно переваривают пищу, приправленную мирными звуками – посуда в руках Нини, шарманка Пьера, – вся компания размякает в сонном умиротворении, дверь остается приоткрытой: пусть хозяева, проходя ночью в туалет, заметят эту деликатную щелку, знак доверия. Но однажды утром я получила от Нини замечание: если дверь закрыта неплотно, отвисают петли, а кто будет платить за ремонт, уж не вы ли?

Что ж, я стала плотно закрывать дверь и в добрые вечера.

Жюльен вошел совершенно бесшумно, так что если бы я спала, то даже не проснулась бы. Но я не спала. Я никогда не сплю. Во всяком случае, я чувствую себя даже слишком бодрой, когда Жюльен приходит, ложится и тут же отключается. Я бы и рада быть такой же усталой и уснуть рядом с ним, а не тормошить его, не приставать к нему, сонному.

– Прости, котенок, – говорит он, – я сегодня еле живой…

Я сердито отползаю на самый край кровати и притворяюсь спящей – хоть бы и правда заснуть!.. Отчего я так хочу его, только его? Конечно, он облегчает мою боль, развеивает скуку, он моя радость, но… Если бы я могла двигаться, если бы рядом был еще кто-нибудь, выбрала бы я его или нет?

В эту ночь Жюльен был в форме.

– То-то Нини утром скроит рожу! Хочется пить, схожу-ка я на кухню. Тебе чего-нибудь принести?

– Угу. Стакан воды. На четыре пятых разведенной “Рикаром”.

Текут часы. Мы лежим не шевелясь, голые, в испарине, вдыхая проникающий сквозь ставни прохладный воздух.

– У меня здесь есть рубашки? – вдруг спрашивает Жюльен.

– Да, я перестирала и перегладила целый мешок твоего барахла. Нини сказала, что раз я называюсь твоей женой, то должна заботиться о твоем белье.

– Нет, серьезно? Она заставила тебя вкалывать? С твоей ногой?

– Ну, не ногами же я стираю. Ничего, я даже повеселилась. После стирки развесила белье в окне, а Нини стала разоряться: соседи, мол, догадаются, что у них кто-то живет, что это мне не зона и т. д. А я, что ни день, что-нибудь новенькое изобрету. Извожу их, как могу. Вчера раковину засорила, перепачкала простыни – в общем, пакощу по мелочам. Будем квиты. Слинять бы отсюда, а, Жюльен?

Но оказывается, на Жюльена свалились новые заботы, объявился еще один тип в бегах, живет сейчас у матушки, и ему нужна крыша. Жюльен хотел пристроить его здесь. Для него и рубашки.

– Да они из-за меня уже на стенку лезут…

– Э, знала бы ты, сколько народу я им подкидывал! Они всегда так: повопят-повопят, но жадность сильнее, и в конце концов соглашаются.

– А что за женщин ты сюда водишь?

– Ага, уже наболтали… Да это все так, я их никогда и не помню… Какая разница, Анна, пойми, для меня есть только ты. Не верь никому и ничему, ты одна-единственная.

Больше я не спрашивала. Сегодня, сейчас на месте тех женщин лежу я, и эта ночь принадлежит мне одной. Может, они клянчили, скандалили, приказывали, но все ушло вместе с ними: подачки, уступки, покорность – все сгинуло, сегодня есть только я… А завтра… зачем думать? Завтра еще не наступило.

– Так вот, – продолжал Жюльен, – если я их уломаю, то сразу звоню домой – малый только и ждет сигнала, чтобы засвидетельствовать свое почтение и отрекомендоваться.

– Значит, ты останешься! Красота!

Пусть наступает завтра – теперь не страшно, я знаю, что будет. Жюльен с озабоченным видом сядет у телефона и станет что-то сосредоточенно обдумывать, и мне до него не достучаться, сколько ни порхай вокруг него на костылях. Я вроде гитары, которую, рассеянно тронув разок-другой, откладывают в сторону. Не могу же я мешать Жюльену думать, о чем он пожелает, и взваливать на себя уйму обязанностей и бескорыстных услуг, раз ему так хочется…

Пьер усмехается:

– Что, нынче опять день Жюльена Заступника?

Жюльен твердит о солидарности. Пьер в ответ острит (надо признать, довольно удачно), и так часами. Каждый из них прав по-своему, да они и не пытаются переспорить друг друга, просто выкладывают, что думают. Мы с Нини, женщины, слушаем молча, она – не отходя от плиты, я – не выпуская сигареты.

Веселый будет обед! Да еще этот малый, как там его…

– Как зовут твоего приятеля?

– Он называет себя Педро, и это ему подходит. Но сейчас к нему надо обращаться “господин аббат”.

– Это еще почему?

– На него идет охота, его обложили со всех сторон, вот он и вырядился попом – тем более что его так и тянет ко всякой пакости, вроде религии.

Вечером с нами за столом сидит молодой священник в новенькой, с иголочки, сутане. Педро. Знакомясь со мной, он сказал:

– Так это вы – Анна! Очень рад… Жюльен столько рассказывал о вас и о вашей… беде. Как ваша нога?

– Добрый день, отец мой. Благодарю вас, мне лучше.

Я отвечала довольно сухо: мне не улыбалось устраивать тут клуб беглецов на пару с этим Педро. Маслянистые глазки, вкрадчивая манера говорить – он смахивал на глянцевый каштан. Тело, насколько позволяла судить широкая сутана, было довольно мускулистым, ладным, в нем угадывалась та же латинская гибкость, что и в голосе и жестах. Педро выдавал себя

за приезжего “профессионала” с юга и разыгрывал этакого рубаху-парня: говорил много, бурно, перемежая речь многозначительными паузами. Но в его обращении сквозила нарочитость, а в голосе недоставало естественной, живой интонации.

Он всячески старался подать себя, но подавать, по-моему, было нечего, все как на ладони: красавчик, болтун, бабник. Без маскарадной сутаны, в нормальной одежде, он все равно обращал бы на себя внимание: его внешность казалась мастерски наведенным гримом, даже щетинистые усики были словно приживлены искусственно.

Ему отвели комнату по соседству со мной. Наверх мы пошли все втроем, и Жюльен с Педро обсуждали что-то, все говорили и говорили, застряв на лестничной площадке, вместо того чтобы пожелать друг другу спокойной ночи и разойтись; поскольку мое участие в беседе ограничивалось междометиями и улыбками, то я пошла в спальню и стала раздеваться.

Ради Жюльена надо было понравиться Педро, и я старалась быть красивой, остроумной, кокетливой… заставить его забыть, что он видел и знал обо мне, стереть представление о немощной хромуше на костылях, малолетке… впрочем, похоже, он и сам не намного старше: года двадцать четыре – двадцать пять. Еще зеленый. Единственное его преимущество передо мной в том, что он мог ходить. Мог, но зачем-то цеплялся за Жюльена – ишь, пристроился, тащи его!

Я влезла в постель: придет Жюльен, я уступлю ему согретое местечко, а сама откачусь на холодную простыню. Беру книжку, поправляю на себе поношенную ночную рубашку.

Но вместе с Жюльеном заходит Педро и рассыпается в извинениях:

– Только два слова, Анна, и я оставлю вас…

Они стоят перед зеркальным шкафом и говорят невнятной скороговоркой, как на прогулке в тюремном дворе. Тарахтят взахлеб… Ну и долго вы еще будете торчать тут, около моей постели? Я усердно перелистываю страницы, внутри все кипит, они никак не наговорятся!

А все этот смазливый “аббат”, прощелыга чертов!

Однако на другое утро мы с Педро засиделись за кофе. Мы поведали друг другу о том, что отреклись от своих приличных семей и пренебрегли приличным образованием, но поскольку больше похвастаться было нечем и нельзя, не нарушив запрета, а блеснуть хотелось, то мы пустили в ход светские таланты. Улыбки, цитаты, тонкие намеки… Сутану Педро снял, теперь на нем были шорты с футболкой и теннисные туфли; перед

завтраком он как следует размялся – вор должен быть гибким: комплекс шведской гимнастики, с фырканьем и уханьем, а затем обливания и обтирания из котла в прачечной. Эх, не прохлаждаться мне больше в костюме Евы! Выбритый и благоухающий лосьоном Адам изгнал меня из прачечной, моего последнего рая.

Наконец Педро встал.

– Ну, ладно, – сказал он. – Я сегодня еду в Париж встретиться кое с кем из друзей. Вам ничего не нужно, Анна?

Он потянулся – омерзительный здоровяк, расставил свои ножищи и играет грудными мышцами.

– Спасибо, ничего или, пожалуй, привезите газет, если вам не трудно.

Педро стал снабжать меня чтивом. Он и сам много читал, в основном литературу, соответствующую его роли: “Дневник вора”[4], учебники по слесарному делу, а в метро – “Руководство по криминалистике” доктора Локара или “Юридический вестник”. Ему довольно скоро надоело слышать насмешливое или благочестивое “отец мой”, надоело, что ему почтительно уступают место в транспорте, надоела длинная душная сутана, и он сменил ее на обычный летний костюм.

Несколько ночей подряд он пропадал до рассвета, и, должно быть, вылазки оказывались удачными, потому что он стал каждое утро менять рубашки. Белоснежная рубашка, серый костюмчик и шляпа в тон; ни ученые книги, ни папка под мышкой не спасут: Педро никак не примешь за студента-юриста. Свет учения на нем не отражался, зато темные делишки так и просвечивали. Пьер немилосердно над ним насмехался за глаза и в глаза: “Твои рубашки незаменимы по ночам, ладно еще сейчас, а вот зимой, без луны, ты будешь прямо светиться в потемках. Рубашка вместо фонаря – и руки свободны, красота!”

Иногда Педро звонил Жюльену, и они договаривались о каких-то таинственных встречах. Возвращались вместе, под утро, и я получала усталого до горячечного блеска в глазах, взмыленного, запыленного и небритого Жюльена.

После такой ночи Педро делал себе поблажку и спал до самого обеда без зарядки. А мы с Жюльеном разговаривали: переутомление – я спала еще меньше обычного – перерастало в лихорадочную бодрость.

Пьер же, оставив смешки, рылся в добыче. Между тем я-то знала, что как раз теперь ему бы и веселиться: Педро сутки не было дома, значит, он не спал с его женой.

Я наткнулась на них случайно, и мне стало так же неприятно, как бывало в тюрьме, когда преспокойно открываешь запертую

камеру – пардон, палату – и застаешь там двух подружек, которых, по их просьбе, закрыла на задвижку снаружи третья. Хорошо еще, что Педро с Нини не догадывались, что я про них знаю: мне от этого не менее противно, зато они могут сохранять ко мне нормальное отношение – приязнь или равнодушие, – а не задабривать и не запугивать меня, чтобы молчала.

В тот день стояла жуткая жара, так что часов до трех-четырех вылезать на солнце было невозможно; мы с Педро и Нини пожевали за обедом зелени, свежих овощей – и поскорее разошлись по прохладным, зашторенным спальням. Как славно я вздремнула на широкой кровати, залив под гипс одеколон и замотав пальцы больной ноги мокрой перчаткой! Часа в два мне захотелось окунуться, и я отправилась вниз.

К тому времени я виртуозно освоила свои деревяшки, ступала на костылях так же легко и мягко, как на ногах, могла на них плясать, кружиться, раскачиваться, как кукла-акробат, закрепленная на двух палочках: сдвинешь-раздвинешь – кувыркается. У меня три конечности, и я переставляю их ловко и четко: раз – живая нога, два, три – пара деревянных; вот и сейчас я шустро поскакала по ступенькам, перемахнула с пролета на пролет, сделав пируэт на пятке, и ворвалась в танцевальный зал. Дальний конец его был отгорожен барьерчиком – там располагался бар, а рядом, в углу, стоял диван, где в случае чего мог отлежаться хвативший лишку посетитель или переночевать оставшийся без комнаты гость, на нем вечно кто-нибудь пристраивался подремать или поболтать, а то лежали стопки белья – в общем, получалось отдельное помещение с диваном.

Я мягко приземлилась на гулкий пол. Добралась до дивана и вдруг увидела на нем Нини, безмятежно спавшую носом к стенке, натянув покрывало до ушей, а рядом, обратив ко мне голую спину – с идеально развитой мускулатурой! – стоял Педро и листал на стойке телефонный справочник.

Он обернулся, увидел меня, толкнул дверцы перегородки и подошел. Руки и шорты у него были в пыли.

– Лучше поищу этот номер на почте. Здесь слишком грязно.

– Еще бы, – сказала я самым невинным тоном, – за кулисами всегда грязно… А мы и живем тут, как за кулисами, особенно мы с вами.

Педро подобрал свою рубашку со швейной машины, что стояла впритык к дивану, и, не взглянув на неподвижную спеленутую мумию Нини, вышел на террасу.

Я поскакала в прачечную: скорее под холодную прозрачную струю воды, – да, здоровы ребята, в этакую жарищу!

Не я проболталась Жюльену и не он мне, мы заговорили об

этом не сговариваясь и оба покатились со смеху. А потом Жюльен сказал:

– Нет, каков бродяга! Я даю ему хату, отсыпаю на первое время монет, учу уму-разуму… А он… Нет чтобы отчалить, как только раскачается, он норовит еще свить тут гнездышко! Забрасывает якорь!

– Но, милый, ему же просто нечего делать! Промышлять в одиночку он не может, ждет, пока ты возьмешь его за руку. Я уверена: эти его ночные походы – сплошной блеф, как и все остальное.

– Да мне все время приходится его то тянуть, то погонять… “Лезь, если башли нужны!”, а он… где это видано, чтобы мужик так трясся… Зато по женской части удалец хоть куда!

Оказывается, в одну из недавних вылазок Педро отдал Жюльену пятьдесят кусков из своей доли “на покрытие больничных расходов”, но тот же Педро, по словам Жюльена, был бы не прочь пришить меня, как только я отсюда уйду, чтобы раз и навсегда обеспечить мое молчание и безопасность здешних хозяев, а точнее, берлоги, где он залег.

– Ну, ясно, тут ему и стол, и дом, и постель с подстилкой. Согласна, это стоит шкуры какой-то пацанки вроде меня…

Кроме того, Педро великодушно предложил Жюльену разделить с ним Нини.

– Наверное, чтобы я ему не завидовал, – объяснил Жюльен. – А сам для разнообразия скоро начнет клеиться к тебе, вот увидишь. Нечего, говоришь, ему делать? Да ему не хватает дня на все его пакости, он их небось и во сне обдумывает. Смотри в оба, Анна, Педро палец в рот не клади!

– Ну, к этому ларчику ему ключа не подобрать, нечего и соваться! С погаными отмычками, которые он целыми днями вытачивает на верстаке Пьера. Пусть подкатывается к Нини, к кому угодно, только не ко мне – тут ему ничего не светит.

Но он сунулся, и очень скоро. Сначала долго ходил вокруг меня кругами, как волк – гладкий, вежливый волк, – действовал терпеливо, исподволь, забрасывал пробные камешки: что-нибудь, что, по его разумению, могло меня привлечь или возбудить: то забудет на виду какую-нибудь пикантную часть туалета, то попросит простирнуть нейлоновую рубашку, “самую малость, только освежить воротник и манжеты”.

Я терла его одежки, вдыхала запах его одеколона, принимала его комплименты – хоть какое-то развлечение!

Слово “женщина” он произносил с трепетом восточного стихотворца.

– Но Анна у нас не женщина, а парнишка. Правда, Анна?

Переодетый парнишка… У вас должна быть очень красивая грудь.

Тон безупречно дружеский, взгляд на мой вырез – почтительный, полный братского восхищения. Нини преспокойно убирала со стола. Ее энергичные, точные движения – живой укор нашей сытой лени: мы с Педро развалились на стульях, выпятив животы и вытянув отяжелевшие ноги. Грязные тарелки, огрызки исчезли со стола, и все более внушительный вид обретала стоявшая на мраморном столике, между мной и Педро, пепельница – зримый атрибут порока. Убрав посуду, Нини напустилась на капли и крошки, ее мокрая тряпка расписала стол размашистыми мыльными кругами. Потом Нини тщательно протерла места перед каждым из нас, вытряхнула пепельницу в ведро и снова красноречиво водрузила ее, сияющую, точнехонько между нами. Ну что, дескать, так и будете торчать тут на кухне целый день, занимать место и осквернять чистую пепельницу? Но вслух наша милая хозяюшка-служаночка ничего не сказала и продолжала работать, как автомат, натянуто улыбаясь на подначки Пьера.

– В двадцать лет, – сказала Нини, не глядя на меня, – у всех женщин недурная грудь. Особенно если они не рожали.

Нини не рожала, но не думаю, чтобы у нее когда-нибудь был хоть намек на грудь. И как только Педро не противно прижиматься к ее костлявому килю?

– Хотите, сниму лифчик, полюбуетесь, – насмешливо предложила я.

Наконец Педро сменил пластинку и попросил Нини принести бутылку шампанского.

– Это еще что за фокусы? Зачем вам шампанское?

– Чтобы пить, – пояснил Педро. – Когда много болтаешь, во рту сохнет. Как вы считаете, Анна?

Ну, промочить глотку я никогда не прочь. Нини послушно открывает холодильник: бутылка будет записана на счет Педро, и вообще желание клиента – закон. Если барину с барыней угодно нажираться в такую рань и в такую жару – пожалуйста. С постным лицом она поставила на стол бутылку и два фужера, а сама снова взялась за посуду.

– Те-те-те, Нини! – воскликнул Педро.

Меня передернуло: работая под южанина, он чуть не каждое слово сдабривал звонким “те-те-те”, “хо-хо”, “э!”, “ва!”, будто пальцами прищелкивал.

– Нини сердится? Э-э, улыбнитесь-ка лучше. Достаньте еще один фужер и выпейте с нами.

– Пить? Мне? Вы же знаете, что я не пью. Мне нельзя – у меня сердце…

Так, значит, красные прожилки на скулах не от возлияний, как я полагала, а от сердечных спазмов. О, Педро, вы ведь не сделаете больно бедному сердечку Нини? Ладно, выпьем вдвоем, мое сердце может трепыхаться без всякого риска.

– Ах, Анна, Анна, вы никогда не теряете головы…

– Хватит того, что потеряла ногу!

Педро долго раскачивал пробку, наконец она подалась, выползла из бутылки и с хлопком вылетела в стеклянный потолок; золотистая струя зашипела, метко направленная в бокал. Этот ритуал я люблю гораздо больше, чем сам напиток, безвкусный, шипучий и бьющий в нос. Нини с брезгливой гримасой удалилась наверх, а мы рюмка за рюмкой распили всю бутылку.

Шампанское жаром разливалось по телу, но охладило голову; лицо Педро куда-то отступило, поплыло, померкло и почти исчезло; конечно, он там что-то говорит, жестикулирует, но меня это не касается, я далеко. Я снова замкнулась в круге своего “я”, свернулась в нем, все линии извне – касательные, скользят, отскакивают и уносятся прочь – мне на все плевать. Я все слышу, все понимаю, отвечаю; может, язык у меня чуточку заплетается, но мысль ясная и четкая, вся собранная в одну-единственную крепко затверженную фразу, в которую я намертво вцепилась: “Смотри в оба, Анна”.

Не волнуйся, Жюльен, я выхожу из игры.

– Подайте мне мои ходули, Педро. Мне до стены не доковылять. Наклюкалась за ваш счет. Теперь черед за мной. А пока пойду-ка я просплюсь.

– Позвольте, я отнесу вас.

– Ага, и останетесь… Нет, спасибо. Давайте костыли, я уж доберусь как-нибудь сама до своей постели.

У запасного дивана я делаю привал и… остаюсь на нем, глаза слипаются. Последнее, что я успеваю увидеть, проваливаясь в золотистое сонное марево, это нерешительно топчущийся около меня Педро. И все-таки – может, вспомнив о Нини, – опуститься на диван он не посмел.

Глава VIII

Сегодня Жюльен забирает меня.

Опустевшая комната стала просторнее, и мы все время что-нибудь ищем – даже те вещи, которые раньше легко находили в темноте с закрытыми глазами.

– О, черт! Я же засунула все туалетные принадлежности на дно сумки, – вспоминаю я. – Дай-ка мне твою расческу.

Нини не найдет после меня ни окурка, ни горки пепла: пепельница отмыта до блеска, пол подметен, кругом пусто и чисто.

Мы будто выходим на волю из заточения. Жюльен в который раз заглядывает в шкаф и проверяет вещи.

– Снесу все вниз да заодно вытяну из Пьера свое барахло, инструменты, шмотки… Я сюда не скоро вернусь…

– Смотри не прихвати напильники Педро.

– Чтоб ему пусто было, этому Педро! Хорошо, что у тебя котелок все-таки варит, не то был бы мне тот еще подарочек… Да ну их всех, иди ко мне, малышка…

Отъезд затянулся, и вечером мы сели за мраморный столик всей компанией. Пьер был страшно мил, так и стелился перед нами – когда Жюльен забрал свое добро, он понял, что птички взаправду улетают.

– Когда Анне надо будет снимать гипс, я заеду за тобой, Нини, – сказал Жюльен. – Лучше, если она придет с сестрой. Дел-то всего на пару часов.

– Само собой, Жюльен, – горячо откликнулась Нини, – о чем говорить! Можете даже приехать накануне, переночевать у нас, чтобы с утра быть на месте, правда, Пьер? Для вас двери всегда открыты…

Жюльен отвечал на все учтиво, но уклончиво: “может быть”, “посмотрим”. Он еще не забыл, в каком состоянии застал меня вчера вечером: злая, скрючившись в кресле и запершись на два оборота, я обмозговывала план бегства. Тогда-то он и поспешил к моим новым хозяевам, чтобы приготовить все к нашему приезду.

Меня уже ждали: я не знала кто, но знала где – в Париже…

О, мой Париж! Я возвращаюсь к тебе, возвращаюсь раньше срока. Сина была права: рыдать не стоило.

По дороге, в такси, Жюльен рассказал, что моя новая хозяйка в прошлом проститутка, а муж ее в тюрьме, так что она живет одна, с дочкой.

Бывшая шлюха, зовут Анни… Какая она? Степенная матрона? Или вертлявая кукла? Я несколько оробела.

Оказалось ни то ни другое. Анни была вызывающе некрасивой, почти уродиной, хотя умела себя подать. В лице что-то лошадиное, сама тощая, дешевый халат с оборками висит на ней, как на вешалке; тапки огромного размера, впрочем, ноги вроде бы недурны. Ростом она не ниже Жюльена – правда, Жюльен как бы сжался, прикидываясь смущенным: так надо, его "обуза" становилась все тяжелее. Однако порог Анни я переступила сама, не как калека новобрачная на руках супруга. Сама, "на своих троих", поднялась по незнакомой, плохо освещенной лестнице следом за Жюльеном, тащившим чемоданы.

И вот мои пожитки уже стоят перед плитой, загромождая проход, а мы с Жюльеном чувствуем себя великанами в крохотной, игрушечной комнатушке.

– Садитесь в кресло, – предложила мне Анни, – вам будет удобнее. Хотите табуретку под больную ногу? И вы садитесь, Жюльен! Ей-богу, можно подумать, вы у меня первый раз! Извините, нечего выпить, Нунуш сейчас сбегает. Нунуш! – позвала она, высунувшись из окна по пояс и чуть не задевая ветки развесистого дерева, стоявшего, словно застывший взрыв, во дворе унылого обшарпанного дома.

Нунуш не отзывалась.

– Опять ее понесло на бульвар, – сказала мать.

Жюльен порылся в пляжной сумке и извлек бутылку, помогавшую мне коротать ночи.

– У нас есть коньяк, но вообще-то еще только пять часов.

Анни достала рюмки, мы выпили, и она показала мне квартиру: не развернешься, всего две комнатушки. Ничего, в тесноте, да не в обиде, и, может быть, мы с Анни поладим лучше, чем с Нини в ее пустынных хоромах.

– Спать будете на кровати Нунуш, а она ляжет со мной. Для вещей я вам освободила полки в шкафу, пожалуйста, располагайтесь.

Я сидела на детской кроватке, отделенной от супружеского ложа проходом сантиметров в тридцать, разомлев от теплых, дружеских слов, и даже не сразу улыбнулась в ответ. Моя кровать упиралась в шкаф, шкаф – в подоконник, и, чтобы выглянуть в окно, пришлось протиснуться между ним и столом. Вдыхаю воздух Парижа… я вернулась, я в самом его сердце. Пусть побитая, проигравшая, но я здесь, впрочем, в тюрьме главным выигрышем мы считали волю. Я вернулась к тебе, Париж, собрала свои переломанные кости и готова начать жить и драться сначала.

По всей комнате как попало валялись игрушки, башмаки и одежда Нунуш – уютный домашний кавардак.

Я разложила по полкам свои вещи и вприпрыжку добралась

до другой комнаты; все так близко и безопасно – опереться да потянуться, а костыли нужны будут только для улицы. Анни и Жюльен о чем-то болтали, а я притулилась к подоконнику и уставилась во двор с деревом; там стоял визг и гомон, играли в классики дети, на окнах пестрыми бельмами висело белье.

На сей раз мне предстояло изображать племянницу Анни, попавшую в аварию и приехавшую на поправку к тетке. Я “из провинции” – слово емкое, расплывчатое и неинтересное для парижан.

– Да я не очень-то якшаюсь с соседями. Знают они о муже или нет, мне плевать, здравствуйте – до свидания, и все. Разве что госпожа Вийон, из крайней квартиры на нашем этаже… Ее дочки ходят в школу вместе с моей, ну, бывает, иной раз навестишь ее. Или она зайдет с мужем в воскресенье перекинуться в картишки, а так… С тех пор, как осталась одна, я почти не выхожу из дому – противно. Только в магазин, по субботам в тюрьму на свидание, да еще сдать партию галстуков.

Какие еще галстуки? – думаю я.

Анни, не умолкая, берется за отложенную работу: вытягивает один из висящих на спинке кровати галстуков и мольтоновый лоскут из свертка на коленях, крепко зажимает один конец галстука под коленкой и крупными стежками прошивает его по всей длине, закрепляя мольтоновую подкладку. Потом отрывает нитку и разгибает ногу – готовый галстук падает на пол. Тут же вдевается новая нитка, достается новая заготовка.

Интересно, сколько часов ей надо возиться с галстуками, чтобы получить то, что при старом ремесле она бы выручила за десять минут? Жюльен говорил, что Анни соблюдает что-то вроде обета верности… и все же… это добродетельное занятие плохо вяжется с ней: не те у нее повадки, не те разговоры.

Ну да ладно… оставляю при себе свои догадки, а вслух заверяю Анни, что страшно рада заполучить такую тетушку. Она фыркает и продолжает работать иголкой, после каждого галстука затягиваясь сигаретой, которая лежит на большом спичечном коробке, рядом с початой пачкой, пепельницей, ножницами и стаканом – самое необходимое всегда под рукой.

Разгибается колено, подпрыгивает тапочка на носке, еще один галстук летит на пол, в кучу других.

В конце концов у меня закружилась голова, и мне стало стыдно сидеть сложа руки.

– Может, я могу вам помочь?

– Ого! – сказал Жюльен. – Вот что значит сила примера! Что, Анни, берешь работницу? У тебя есть вакансия?

– Сколько угодно… Смотрите: теперь надо вывернуть налицо

вот этим стержнем. А потом я их связываю дюжинами и складываю в чемодан…

– А утюжить?

– Я только проглаживаю швы, перед тем как сшивать. Окончательная утюжка – это работа моего зятя. Я промежуточное звено между двумя родственниками. Сестра мужа сшивает и подрубает на машинке, я прошиваю вручную и отдаю им обратно для отделки. Ну, они, понятно, берут себе побольше. Мне бы машинку – работала бы на себя.

(Значит: “достань” машинку, Жюльен!)

До самого ужина мы строили радужные и малореальные планы, сидя перед ворохом галстучных заготовок. Мужняя родня обирала Анни, это ясно, и она с чистой совестью могла позволить себе добывать приварок на стороне… если дело обстоит так, как я думаю… Ой, Анна, не строй гипотез!

– …А они совсем обнаглели, – жаловалась Анни, – скажут, например, принести партию в три часа, а сами являются в пять, и сиди в этой их чертовой дыре и наливайся анисовой. Кстати, схожу-ка я за бутылочкой, заодно приведу Нунуш. Что делать, должна же девчушка играть, а здесь у нас такая теснота.

Анни зашла в спальню и переоделась в платье. Сполоснула стакан, выплеснула воду в окно и достала из ящика стола кошелек. Но Жюльен остановил ее:

– Раз уж Анна все равно будет выходить на улицу, почему бы нам прямо сейчас не сходить всем втроем в бар?

– Как-нибудь в другой раз… Здесь спокойнее. Если мне бывает скучно, можно пройтись по коридору, послушать, что творится за дверями – так, от нечего делать. А бар – это когда уж совсем нечем поживиться.

Поживиться!

– Она вроде бы ничего, – сказала я Жюльену, как только мы остались одни. – Мне здесь нравится, думаю, все будет хорошо… Она молодчина, и вообще… Господи боже! На сколько загремел ее дружок, на четыре года? Бедная Анни. И сколько ему еще осталось мотать?

– Только третий год пошел. Но… не переживай за Анни. Она, конечно, молодчина, но и себе на уме. Так что прикидывайся и дальше, что ничего не видишь, ничего не знаешь. Я ей отвалил монет за два месяца вперед: живи спокойно и ешь на здоровье. Анни будет тебе рассказывать байки: правду с враньем пополам – верь всему подряд. И… не очень-то шастай по Парижу.

– Клянусь, буду целый день сидеть и прошивать галстуки. Да здесь, по-моему, больше и нечем особенно заняться… Честно говоря, меня пугает дочка!

В эту самую минуту дверь распахнулась, и в комнату ворвалось патлатое, белокурое чадо – Нунуш. У буфета она затормозила и завопила:

– Привет, Жюльен! Как дела?

Ей было лет семь-восемь. Бледная, веснушчатая мордашка, на затылке мотается хвостик, вид вполне бывалый – она смахивала на зеленый абрикос, размягченный парниковым парижским солнышком. Разговаривала она бойко и по-свойски, со всеми на “ты”, этакая изящная, умилительная маленькая женщина-пигалица вскарабкалась Жюльену на колени, обвила его шею руками, не очень-то по-детски, и защебетала.

Вошла Анни со стаканом анисовки:

– Нунуш, отстань и слезай. Сходи лучше набери воды в коридоре.

– Не пойду!

– Кому сказано!

– Тогда и я буду с вами пить.

– Как же, как же!

В коридоре на лестничной площадке полилась из крана вода, в квартиру она не проведена. Моются и стряпают в нише-кухоньке; Анни показала мне, где стоит ведро, таз, куда положить мои туалетные принадлежности.

– Только, когда будете мыться, закрывайтесь на шпингалет, а то моя разбойница…

Да, похоже, наша скороспелочка – тот еще фрукт!

Глава IX

За неделю я проглотила все книжонки из серии “Интим” и “Двое”, составлявшие библиотеку Анни, и не только начиталась, но и наслушалась “сокровенного”. Галстучное дело мне определенно не давалось, а помогать Анни стирать или готовить я не могла – она об этом и слышать не хотела:

– И не думайте, с вашей ногой!

Оставалось только гулять по бульвару. Загипсованную ногу я тащила, как черепаха свой бронежилет, так же медленно и упорно. Шла в ажурной тени трепещущих под летним ветерком каштанов. А впереди маячил оазис перекрестка. Но до него я не доходила, на полпути поворачивала обратно, чтобы быть дома, как обещала, минута в минуту. Совесть служила сама себе хронометром. Когда Анни уходила сдавать работу, она могла задержаться на час, на два – это никого не касалось, другое дело я… Я все еще завишу от часов, от часовой стрелки, отмеряющей, когда я задерживаюсь, беспокойство окружающих меня людей, часы подобны бдительному оку тюремщика: уследят и удержат. Хотя, с тех пор как я поселилась у Анни, меня уже не так подмывает бежать.

– Еще рюмочку, Анна? Винцо совсем легонькое, всего десять градусов…

Мы с Анни засиживались после ужина за бутылочкой и трепались допоздна. Две скучающие женщины – ни любви, ни развлечений. У меня не было возможности, у нее – охоты. Мы с нею спаяны, связаны весь день общими заботами, узами повседневности: мы делали одну и ту же работу, ели одно и то же, нас связывала нить, которую мы часами тянули, она – справа налево, я – левша – слева направо, сидя лицом к лицу, будто зеркально отражаясь друг в друге. Мы обе шили, курили, напевали, иногда вздыхали или обменивались улыбками. Но куда больше роднили нас наши ночные посиделки. Производственная дружба отодвигалась в сторону, ее место – в рабочем чемодане, вместе со связками галстуков; настоящая близость скреплялась глотками вина, колечками дыма за накрытым цветастой клеенкой и заставленным грязными тарелками столом. Нунуш сновала между нами, влезала на колени, смахивала крошки, вытряхивала пепельницу, слушала наше шушуканье и мотала на ус.

– Нунуш, спать! – повторяла, больше для порядку, Анни каждые четверть часа, начиная с восьми.

Эти “ушки на макушке” заставляли говорить обиняком: Анни желала, чтобы дочь оставалась “маленькой девочкой”,

рассказывала ей про Деда Мороза, аистов и капусту и чуть не подралась с госпожой Вийон, когда та, в целях сексуального воспитания, показала Нунуш, а также собственным дочкам картинки в медицинской энциклопедии; в то же время ее нисколько не смущало, что девчонка полночи трется около нас – ничего страшного, выспится утром. Вот когда начнется школа… Да и что она поймет! “Твой папа в больнице, видишь же, я его навещаю по субботам, мама всегда говорит правду, больше никого не слушай, а если соседи будут тебе что-нибудь заливать, скажи им, что они жлобы, а мы деловые”.

Вот такая педагогика. Причем – самое восхитительное – Анни была абсолютно убеждена, будто Нунуш верит в ее непогрешимость и авторитет, несмотря на все, что видит, слышит и примечает.

А Нунуш говорила мне:

– Смотри, Анна, чтобы твой муж не наделал глупостей, а то он тоже попадет в больницу. Да какой он тебе муж! Не смеши… Ты еще ребенок.

Если у меня получался удачный галстук, она пищала:

– Неплохо для ребенка, а, мам?

Невозможно было внушить ей, что я старше, чем она, не засыпаю в обнимку с мишкой и не играю в кукольную посуду.

Ее мишка не раз путешествовал в Санте[5] и обратно, а кукольная утварь встречалась в тюремных коридорах с мисками и кружками размером побольше: по субботам Нунуш ходила с мамой проведать “больного папулю” и всегда брала с собой какую-нибудь игрушку, чтобы он хоть полчасика поиграл с ней через решетку.

Я предпочитала оставаться дома, не из страха, а потому что только в это время могла хозяйничать в квартире. Шныряла по всем углам, без определенной цели и даже не из любопытства, а просто чтобы отыграться за неделю бесконечных “Анни, можно это… можно то?..”. Я мыла голову и гляделась через открытую дверь каморки в зеркало на стене или на дверце шкафа, разгуливала нагишом, в одном тюрбане из полотенца, по пустым комнатам, забросанным галстуками и игрушками. А потом, чтобы сделать приятное Анни и рассчитаться за то, что совала нос куда не просили, натыкаясь то на стыдливый ком грязного белья в углу за плитой, то на заплесневелый, месячной давности, кусок сыра в буфете, – натирала пол, начищала до блеска донышки кастрюль, прибиралась – не слишком посягая на хаос, а только придавая ему более опрятный вид, – и наконец, в доказательство того, что ждала хозяек с нетерпением, приносила конфет из бакалейной лавки, два двойных “Рикара” из бистро и накрывала стол к их

приходу.

А вот в кафе “У Марселя”, что против тюрьмы, на улице Санте, я бы с удовольствием на часок заглянула. По субботам в этой забегаловке толкутся друзья заключенных, не допущенные на свидания, или друзья их родственников; всюду громоздятся сумки, свертки, приготовленные для передачи или, наоборот, вынесенные из тюрьмы, в одних – грязные, в других – чистые шмотки, а в каком-нибудь пакете, может, прячется пара штанов или пиджачок для побега века…

Эх, сидела бы и смотрела, как снуют туда-сюда люди с сумками и свертками, с радостными или заплаканными лицами. Впивала бы закулисную жизнь большой тюрьмы с тем же трепетом, с каким перебирала рубашки Жюльена.

Свойственники Анни тоже имели право на посещение и пользовались им неукоснительно, так что узнику, которому было разрешено всего одно свидание в неделю, приходилось выступать в роли супруга и брата одновременно. Жена, сестра, зять – я слышала только один колокол из этого перезвона, голос Анни, но и другие наверняка звучали так же надрывно, когда чисто, а когда и фальшиво. Долг перед братом, проклятия, ненависть к нему… А для доставки по назначению всего этого букета разноречивых чувств имелось только одно транспортное средство – машина зятя.

В субботу в час дня кофе на всех готовила я: Анни, боясь испортить парадный вид, ни к чему не прикасалась до самого возвращения из тюрьмы. Все утро, час за часом, я наблюдала, как распустеха в домашнем халате и с накрученными на бигуди волосами превращалась в шикарную кокотку: узкая юбка с разрезом и туфли на шпильках превращали тощие ноги в стройные и пикантные; жакет с баской округлял бедра, скрашивал щуплый зад и костлявые бока. Волосы становились пышными и блестящими, губы – яркими и пухлыми, и зубы за ними вроде уже не казались такими крупными. Несколько взмахов щеточки с тушью – и глаза опушаются томной зеленоватой бахромой.

Игривые шутки зятька не отличались разнообразием, и если появлялось что-нибудь новенькое, то мишенью всегда была я. Он не имел на меня никаких видов, учитывая разницу в комплекции и обязанности, налагаемые родством, но глазки его так и бегали, выдавая самые грязные и пошлые мысли. Кофейно-черные близорукие глаза, в сущности, очень красивые, но сильно уменьшенные толстенными линзами. Пожалуй, и неплохо, что они прятались за очками – уж очень эти глаза не вязались с приплюснутым носом, втиснутым между ягодицами щек, сальной кожей, волосатыми руками – не то бык, не то огромный слизняк,

не то тюлень в море “Перно”.

– Только языком молоть и умеет, – отзывалась о нем Анни. – Когда забрали Деде, я не могла сразу вернуться домой: квартира была опечатана, и потом, мне хотелось выждать, пока все немножко уляжется и забудется… Пришлось пару недель перекантоваться у них. Ну, скажу я вам…

За это время Анни насмотрелась на милую семейку во всей красе: муж жирный, скользкий, противно прикоснуться, жена – ненасытная прорва, жрет и жрет, а дочка Пат гробит себя на работе, в двадцать лет сутулая, с отвислой грудью.

Что до моих заработков, то, хотя я шила не слишком много и не слишком хорошо, на бутылку-другую хватало. Потихоньку покупала я и одежки, пуская Жинеттины обноски на тряпки.

– Мы, значит, не только выпить, но и расфуфыриться не прочь! – язвила золовка Анни.

Иногда нам с Анни приходилось вылезать из затрапезных халатов и отправляться на семейные обеды, для которых мы соорудили себе роскошные, не уступающие субботним, туалеты. Нас звали каждую неделю, но принимали мы одно приглашение из трех – таков негласный договор.

Дом золовки располагался на окраине, где кончаются мостовые, начинается грязь и тянутся чахлые садики. Мы добирались туда на нескольких автобусах, потом еще долго шли пешком, вдоль заборов и решеток. У меня болела нога, Анни на своих шпильках на каждом шагу спотыкалась. Нунуш тащилась вдоль канавы и ныла: “Мам, ну скоро?”

Наконец пришли! Дом сплошь, не считая окон и дверей, обшит светлым деревом, с этажа на этаж вьются легкие лесенки, а внутри – джунгли, галстучные дебри. Денежки на дом накапали с галстуков, недаром все семейство корпело над ними бессонными ночами и безрадостными днями в тесной двухкомнатной клетушке в квартале Тампль; кроили, шили, выворачивали, утюжили, скалывали и связывали без передышки. Галстуки переехали в новое жилище и по праву заполонили его, заменив драпировки, подушки и побрякушки. Только кухней они не овладели, поскольку, наряду с работой, вторым и не менее важным занятием хозяев было набивание брюха.

Отделка еще не завершилась: проходя в недоделанную ванную помыть руки, я заметила биде, обернутое в полоски серой бумаги, оно так и стояло нераспакованным в углу.

При всем внешнем радушии галстучной семейки меня во время воскресных обедов держали на расстоянии. Я играла в садике с Нунуш, не участвовала в разговорах и скучала. Я чужая, я непричастна к их прошлому, настоящему и будущему, ведь мы с

Анни только временно сотрудничаем в галстучном деле, пока не выйдет ее Деде, не вернется на службу в строительную компанию и не выстроит отдельные одинаковые хоромы для обеих наших пар – для себя с Анни и для меня с Жюльеном. Только об этом мы и судачили с Анни, коротая вечера, но о чем говорить здесь, в гостях? Приходилось все воскресенье выслушивать нудную чужую болтовню, как, бывало, в тюрьме: сидишь, молчишь, улыбаешься и участливо киваешь, только вместо тушенки здесь подавали курицу с рисом, сладким перцем, горошком или картошкой.

“Перно”, куриный жир, хмель, длинные разговоры – все смешивалось и давило на сердце, мне тяжело, одиноко, я так далека от этих людей. Их мое присутствие не стесняло. Когда же я смогу ходить, чтобы уйти без оглядки! Ну снова придет Жюльен, убедится, что все в порядке, заплатит очередной взнос, и нет его. Досада и разочарование, которые я старалась скрыть, чтобы не показаться неблагодарной, клокотали во мне: в книжках преступники были куда интереснее! С самого дня побега я жила в окружении настоящих “блатных”, предвкушая что-то необычное, рассчитывая похвастаться при встрече Роланде своими подвигами: дурными знакомствами, жуткими приключениями. Но подходило к концу лето, развеивались мечты, чем-то расплывчатым стала представляться сама Роланда. Привет, это я пришла. Напьемся, наедимся, наговоримся и переспим, ну а что делать завтра, что нам еще останется? Думаешь, теперь, когда я снова научилась иной любви, мне хочется ковыряться в твоем заду? Каждая минута – кирпич в растущей между нами стене. Пусть я пока блуждаю во тьме, но, если забрезжит для меня заря и откроется дорога к свету, я пойду по ней без твоей поддержки, Роланда… это из-за тебя, дрянь, я сломала ногу; рано или поздно, я бы все равно встретила Жюльена, лучше бы мне сейчас не вспоминать тебя с благодарностью и отвращением, не знаю, сохранилась ли у меня все еще тяга к женщинам, зато могу назвать одного мужчину, который мне по вкусу, и одну женщину, которая мне противна…

Жюльен, я люблю… люблю тебя!

Не стану много говорить, замкни мне губы поцелуями, но знай, Жюльен, я твердо поняла: настало время решиться, выбрать один путь и держаться его, хватит перебегать туда-сюда… Роланда, Жюльен… я разрываюсь надвое…

У нас в тюрьме было два воскресных развлечения: танцы и белот. Для меня карты – сущее наказание: как только объявляют козырь, я теряю всякий интерес к игре и только слежу за тревожными или невозмутимыми лицами играющих, за их руками – одни изящно мечут карты, другие грузно

припечатывают к столу. Но была у меня заветная карта, трефовый туз, “успех” на языке гадалок; если этот клеверный листок выпадал несколько раз за вечер, это предвещало удачу. Да, вовремя я дала деру: гадание на трефовом тузе, бензин, мучительные сны, онанизм – все эти тюремные прелести вели прямиком в дурдом. Теперь же безумие с каждым днем отступало.

У Анни было три колоды карт, две из них старые и неполные, которыми Нунуш шлепала по воскресеньям в белот с куклами, сидя на полу, у ног взрослых, пока те разыгрывали кон за коном наверху, за столом. Стащить у нее трефовый туз – невеликий грех, она лишь копировала жесты картежников, а что чем крыть, не важно. Положу туз в конверт и отправлю Роланде. Если она все же явится на встречу, дело ее, а моя совесть будет чиста: я предупредила. Может быть, в назначенный день мне все же станет тоскливо, но только потому, что он приурочен к моему дню рождения. Ровно двадцать – что ни говори, не так-то весело разменивать новенький десяток, да еще зная, что на несколько лет придется вернуться за решетку – отматывать остаток срока, который я похерила ради тебя, Роланда; наше свидание было задумано как подарок, и вот я сама отказываюсь от него.

– Жюльен, ты придешь, когда мне стукнет двадцать?

– Конечно, если смогу… Сходим с тобой в ресторан…

– Да ну, Анни приготовит не хуже. Надо только пригласить ее тоже. Не хочу никуда идти, лучше побудем вдвоем.

Мы с Жюльеном строили планы на будущее. Сначала все останется как есть. Он будет меня обеспечивать, а я чтобы ни во что не ввязывалась – и не спорь, раз я сказал! Но я мялась: сколько можно сидеть на чужой шее… Анни – мой налоговый инспектор, ни к чему дразнить ее дорогими покупками, поэтому, если Жюльен давал мне десять тысяч, я говорила, что получила пять, и из них две или две с половиной отдавала ей на аперитив и конфеты для Нунуш. Потом, когда я буду лучше ходить…

Выходит, я все еще хожу так плохо?..

Гипс мне сняли в два приема. На первый, контрольный, визит я взяла с собой кроссовки и эластичный бинт; мне уже представлялось, как я пойду обратно, хоть с трудом, но наступая на ногу, повиснув на Жюльене, как новоиспеченная подружка. Задолго до назначенного дня мне снилось, что нога свободна, и я “ходила”, цепляя пальцами простыню, а накануне, чтобы ускорить дело, решила сама снять свою колодку.

Первым делом попыталась, вооружившись большими, “галстучными”, ножницами, разрезать гипс с двух сторон, от колена вниз – так, я видела, делают в больнице, – снять переднюю половину и осторожно, как торт-суфле из духовки, вынуть ногу из

футляра… но – увы! – результатом получасовых усилий была щербинка глубиной в несколько миллиметров да горстка крупитчатой пыли на линолеуме, у ног Анни, где я устроилась, чтобы сподручнее было брать и отдавать ножницы: нет, видно, без пилы не обойтись.

Тогда мне пришло в голову растопить гипс: я окунула ногу в горячую воду, размочила свою колодку и стала разматывать бинты…

Открылось нечто столь безобразное, что я поскорей натянула носок и даже не стала пробовать наступать на ногу.

В амбулатории я получила хорошенький нагоняй и новый, “прогулочный”, гипс. Я лежала на перевязочном столе и смотрела, как мою кеглю опять замуровывают.

– И не вздумайте сдирать это, – сказал врач, закончив работу, – иначе встанете на ноги лет через десять.

Он проверил, достаточно ли плотной получилась пятка – толстый куб из быстро затвердевавшей марли. Тем временем сестра вытирала мне перемазанные гипсом коленку и пальцы.

Моей несчастной ноге предстояло заново осваивать свое природное предназначение: шагать попеременно с другой и принимать на себя тяжесть тела… просто не верится, что столько времени я ходила, не задумываясь о том, как это делается! Скоро я познаю радость родителей, наблюдающих за первыми шагами своего чада, к которой прибавится гордость за себя самое – я больше не кукла на подпорках, хожу самостоятельно, без тягача и буксира… Жюльен ждал меня в коридоре, другие пациенты, рядом с ним, ждали своей очереди, а сестра в белом халате – обеденного перерыва. Я же своего дождалась – у меня наконец свободны руки, прощайте месяцы боли и неподвижности, я стояла на пороге, улыбалась, мне хотелось побежать легко-легко, броситься к Жюльену, удивить его… но новая колодка оказалась тяжеленной, куда тяжелее костылей, и я не решалась… Жюльен сам подскочил ко мне, подхватил под локоть и повел, помогая каждому моему карикатурному шагу.

Дома Анни одолжила мне палку с резиновым наконечником, и я снова заковыляла на трех конечностях: тук-тук палкой, топ-топ ногой – и мурашки по телу.

Ну а теперь?

Став спиной к зеркалу, выворачиваю шею, чтобы сравнить щиколотки, делаю несколько шагов до порога кухни: ничего подобного – не хромаю, не вижу и не чувствую никакой хромоты. Здесь не побегаешь, но прежняя упругость играет в мускулах; правда, скакать или стоять на одной ножке я не могу, но, если очень захочу, добьюсь и этого.

– Дай сюда сигарету, незачем курить на улице. Тебе что, очень хочется привлекать внимание?

Жюльен свежевыбрит, в крахмальной сорочке, прилизанные волосы все в полосочку от мокрой расчески – он не расстается с несессером и при первой же дневной передышке спешит к умывальнику и зеркалу. Сегодня утром он пришел бледный от усталости, с синяками под глазами, рухнул на мою кроватку, не раздеваясь, и заснул мертвецким сном, бесчувственный к моим робким поползновениям.

С тех пор как я стала больше двигаться и меньше лежать, ко мне вернулся сон и снова стало сладко пощипывать под веками к ночи, но чтобы вот так валиться замертво, чтобы сон вытеснял голод и жажду, чтобы он оглушал, парализовывал… Если что-нибудь нужно в спальне, никаких предосторожностей не требовалось: топай, стучи палкой, пихай кровать, пой, кричи, вопи – могучий Сон сильнее меня.

– Брось сигарету, слышишь?

Ей-богу, я начинаю жалеть, что ты проснулся; так было хорошо: лежал себе глухой и немой, а я могла делать с тобой что угодно – гладить, щипать, душить. Теперь же я твоя вещь, да еще такая неудобная, твой зайчонок, твоя малышка, ты повелительно смотришь и твердо, по-мужски, разговариваешь! Я знаю: как только мы выйдем на бульвар, твоя рука округлится и застынет, превратится в подставку, опору, твой шаг подстроится под мой, мы возьмем такси, поедем в бар…

– Чего-нибудь освежающего?

Мои родители “освежались” не чаще чем раз или два в году в привокзальном буфете, если куда-нибудь уезжали сами или водили по городу гостей и надо было дать отдых ногам и промочить горло. Для девочки – если можно, газировки. И я тянула свой лимонад, откинувшись на высокую спинку плетеного стула, глазела на публику за столиками, потом просилась в туалет, чтобы пройти мимо чистой, блестящей стойки с неоновыми огоньками, повертеть круглый, как яйцо, кусок мыла, надетый на никелированный штырь… Со временем закусочные сменились барами и дансингами: ночь за ночью я убивала в них свою скуку, пила, болтала и курила, пока утро не прогоняло меня прочь; иногда, если было не лень, ставила пластинку и танцевала.

Но никогда никого я не дожидалась у стойки дольше десяти минут. Была пунктуальна сама и требовала того же от других. Теперь же… что остается делать, когда Жюльен, бросив “я на минутку”, исчезает на два часа? Только ждать, уставившись на дверь. А потом куда деваться? – снова в такси и назад, к Анни… Я жадно опустошаю стакан, заказываю еще один и запасаюсь новой

порцией терпения. На другой день после этой прогулки единственными доказательствами того, что Жюльен мне не приснился, были ломота в висках да приятная тяжесть в бедрах… Жюльен ночевал у меня, на маленькой кроватке, а с Анни прощался еще вечером, чтобы не будить ее с утра. Я вскакиваю затемно, спешу согреть ему воду и сварить кофе, но, оказывается, зря: он уже умылся холодной водой, а кофе выпьет на вокзале, Жюльен переодел костюм, он подтянут, любовь и все такое вон из головы, пусть остается на горячей подушке, – он спешит, и я запираю за ним дверь. Ну, пока, чао, прости, я и так проволынил – не сорвалось бы дело.

И все – я одна, на целую неделю, а то и на две.

Иногда Жюльен может объявить:

– Зайчонок, я тебе изменил!

– Надеюсь, получил удовольствие? – улыбаюсь я в ответ.

Пока наш путь гол и солон, как пустыня; может, когда-нибудь мы ступим на волшебные тропы… Но еще столько надо расхлебать, отделаться от стольких людей и вещей; петельку за петелькой распускаю ткань, исподтишка торможу; ужасно противно “обрабатывать” вот так Жюльена, но он увяз в паутине ложных, скользких связей, отсечь бы хоть эти.

Когда-то меня холили и лелеяли, я была здоровой, самостоятельной и дерзкой, все могла и все умела.

Теперь, безоружная, больная, нищая, я сама навязываюсь, сама цепляюсь за других; и никто не удерживает меня, потому что мне нечего дать, кроме себя самой, без прикрас, и надо много терпения и любви, чтобы во мне что-то открылось и забил родник живой воды.

Глава X

– Э-э… Анни…

Слова застревают в горле:

– Будете покупать курево, захватите пачку и мне.

Вид у Анни – брюки в обтяжку, подчеркивающие ее худобу, подведенные брови, круто завитые волосы – довольно экстравагантный: сверху потасканная бабенка, снизу девочка-подросток. В магазинах на нее оглядываются. Поэтому я стараюсь с ней не ходить.

Когда она войдет в дверь, навьюченная сумками, я закурю последний бычок, чтобы она сразу вынула новую пачку, но не заподозрила, с каким нетерпением я ее ждала. На самом-то деле я со вчерашнего вечера без гроша. Ухлопала последнее на бутылку анисовой, чтобы выпить с Жюльеном, он обещал быть и не пришел. Не случилось ли чего?

А вот и Анни – она истолковывает мою мрачность на свой лад:

– Что это мы сегодня такие хмурые? Выше нос, я купила жратвы, на неделю хватит. А дальше…

Анни, больше для вида, перебирает варианты: занять у Вийонши – “она-то не стесняется, когда приспичит”, – стрельнуть у золовки и т. д., но сводит все к тому, что надо бы мне упросить Жюльена – в подходящую минутку, наедине, – чтобы он выдал ей небольшой аванс в счет следующего месяца.

Ну хитра!

Я объясняю, что Жюльен для меня не клиент, я люблю его не ради денег и он нам ничего не должен – сегодня только двадцать третье число.

Чем я виновата, что Анни ходит по парикмахерским, наряжает Нунуш и шлет передачи Деде. Тоже мне, нашла кому жаловаться: у меня на все про все вот этот последний чинарик, и я жду не дождусь, пока она распакуется! В кармане брюк Анни четко проступает пачка; я, сидя с иголкой и галстуком в руках, прямо утыкаюсь в нее глазами. Мне мерещится табачный дым, льющийся в горло и грудь горячей струйкой, от которой по жилам пробегает трепет; пепельницы с окурками – сколько я их выкинула в своей жизни. Терзаемая этими муками, я не слушаю Анни и только пожираю взглядом ее карман…

“Заиметь деньжат – это еще полдела, надо, чтобы можно было тратить их в открытую”, – говаривал Пьер. “Да я, если захочу, мигом!” – это Педро. “Не переживай, я как-нибудь добуду”, – Анни. И все один треп, дым, живые деньги водятся только у

Жюльена. Для него это такая же простая и естественная вещь, как воздух или кровь, о чем тут разговаривать.

– Но, Анни, ведь вам, кажется, заплачено еще за целую неделю?

– Да вы просто не представляете, как все стало дорого! Ходили бы со мной почаще в магазины, так знали бы.

– Лучше не надо, а то, чего доброго, принесу вместо одного кошелька четыре. Но вообще-то вы правы, пойду-ка я пройдусь, чтобы знать, что к чему.

В голове ватная муть крутится, сбивается в плотный ком. Мне просто необходимо походить по городу, снова подышать воздухом утренних улиц, потолкаться в лавочках, у лотков, у стоек. Может, осмелюсь отойти подальше, дойду до центра, где не встретишь небрежно одетых женщин и мужчин в широченных рабочих блузах.

– Возьмете с собой Нунуш?

Тьфу ты!..

– Если она пойдет… Можно покататься на лошадках-качалках – я хочу в Люксембургский сад.

– Ну как, Нушетта? Пойдешь с Анной?

– Нет. Никуда я не пойду. Останусь дома, с мамочкой.

Преданная доченька выставляет меня за дверь – что ж, ладно…

Давненько не гуляла я по Парижу, не считая бульвара, где живет Анни. И вот передо мной пограничный перекресток, пешеходный переход, спуск в метро, а дальше – бесконечная мозаика домов и улиц. Если перешагнуть эту черту, нырнуть под землю или перейти на следующий бульвар, каково потом будет снова возвращаться к Анни, с ее галстуками и дрянным кофе, к Анни из Санте, к Анни с бульвара Себасто.

Но нужно держаться ее, чтобы не потерять Жюльена. Хоть я потихоньку и начала осваиваться в кругу бесчисленных знакомых, о которых он мне рассказывал, но знала их только по уменьшительным именам или кличкам. Ни одной фамилии, ни одного адреса – никакой зацепки, чтобы отыскать его. Кроме Анни.

Жюльен на миг рассекал туман, и вокруг светлело, но мой рот на замке, расспрашивать нельзя, когда же он исчезал, я снова утопала в потемках, искала и не находила того, что пропадало вместе с ним и становилось для меня недосягаемым.

У входа в метро я прислонилась к решетке и выгребла из кармана мелочь – отлично, на билет хватит.

Как только я выбралась наверх, меня тут же обступили приметы знакомых мест – я знала тут каждую витрину, каждую

вывеску, от самой крупной до самой крохотной, помнила, какие из них горят всю ночь, разгоняя тьму и холод. Время сделало скачок назад, и снова по тротуару шагает шестнадцатилетняя девчонка в тряпичных тапочках – копна распущенных волос, свитер на голое тело, ни дать ни взять цыганка, “гитана” с сигаретной рекламы, ступающая по облакам. И Париж ласкает меня взглядами прохожих, отдается мне, как отдаюсь ему я сама.

– Куда хочу, туда иду. Сказано – отстань.

– А пичему такой хоросый французка такой сердитый?

Публика все та же: арабы с томным липким взглядом, крутые ребята: “Иди вперед, я за тобой”, сухонькие и рыхлые стариканы, пижоны и работяги. Все осталось, как было. Тогда, как и сейчас, ко мне подстраивались сбоку, спереди, сзади и шептали на ухо: “Зайдем опрокинем по рюмочке”.

Мы опрокидывали по рюмочке, потом вставали из-за столика и возвращались минут через десять… А теперь – я как-то не решаюсь…

Бывало, один из таких дружков, с которым мы вместе тянули кальвадос и разглядывали публику, сидящую на закрытой террасе, и тех, кто толпились или расхаживали взад-вперед у входа – малая сутолока внутри большой, – бывало, один из таких дружков говорил мне: “Вас, кажется, ждут, не буду задерживать”.

Что ж, снова вокруг меня плотный рой. Не дай бог, затесался легавый… Ладно, Анна, давай выбирай любого, где наша не пропадала…

Горничная на этаже не узнала меня.

– Вы ненадолго?

Дверь на запор. Сброшена одежда, минутная пауза… это и есть твой подарочек? Ага…

Я безвольна и безучастна, никаких эмоций. Даже к обеду не опоздаю.

Зато больше никогда не буду жадно шарить глазами по карманам Анни.

На другой день я нечаянно поймала ее. Дело было так: Анни решила послать Нунуш за хлебом, дала ей бумажку в тысячу франков и сказала:

– Смотри не потеряй, это последняя.

И вдруг Нунуш сорвалась с места, побежала в спальню и застряла.

– Что ты там возишься? – крикнула Анни.

– Иду, ма, только возьму куклу.

Миг – и Нунуш скачет среди галстучных залежей и размахивает руками: в одной – коляска из кукольного дорожного набора, в другой – купюра в пять тысяч франков.

– Вот, мам, ты что, забыла, куда спрятала?

Цирк! Анни побелела от ярости, накинулась на дочь и лупила, пока не выдохлась. Бедная Нунуш вопила как оглашенная, а Анни пыталась объяснить мне, откуда взялась (наскребла с заработков) и для чего предназначалась (подарок Деде к Рождеству) так некстати обнаружившаяся заначка.

Конец экономии! Теперь я покупала все, что вздумается, притаскивала домой кучу свертков: пирожные, вино, запасы стирального порошка, консервов и прочих нужных вещей… Анни ни о чем не спрашивала и тоже быстренько расширила свой бюджет, а о том, чтобы пощипать Жюльена, речи больше не заводила. Для приличия мы обе врали друг другу: она хвалила щедрость своих родственников, я – своего друга.

Но душевного согласия между нами как не бывало: это чувствовалось по некоторой отчужденности Анни, по вырывавшимся у нее иногда резким замечаниям, хотя она и старалась смягчить их улыбкой. Например, в первые недели, когда приходил Жюльен, Анни встречала его как радушная хозяйка, по-матерински покладистая и понятливая; если он не мог остаться на ночь, она, прихватив карты и бутылку, уходила к Вийонам.

– Пошли, Нунуш… Мы вернемся через часок, а вы, детки, пока не скучайте.

Нам бы не уступать ей в деликатности, не мять постель, умерять свой пыл, но мы предпочитали куролесить по всему дому, курили напропалую, забыв о ребенке со слабыми легкими, выпивали сами все, что приносил Жюльен, ни капельки не оставляя хозяйке, пребывавшей в добровольном изгнании. Час растягивался, как бы вмещая время от нашей последней встречи до следующей, если она будет… Прошлое и будущее плотно спаивались, тьма и тревога отступали, руки Жюльена ласкали меня: огонь и бальзам. И все же это напоминало любовь в камере, когда ни на минуту не забываешь о глазке в двери. Потом мы уничтожали все следы нашего буйства, приводили в пристойный вид постель, одежду и собственные физиономии. Мне было жаль Анни, я сочувствовала ей.

– У меня есть ты, а бедная Анни…

Жюльен загадочно усмехался:

– Ты за нее не волнуйся.

После случая с пятитысячной бумажкой я больше не волновалась.

Последним мирным днем в наших отношениях был день моего двадцатилетия, отпразднованный с тостами и шампанским. Я о своем дне рождения не напоминала, и Анни, у которой был

свой, обратный, календарь – “еще столько-то до возвращения Деде”, – к счастью, забыла о нем. Но Жюльен, наверно, отметил его в своей вдоль и поперек исчерканной какими-то буковками и значками записной книжке, с которой то и дело сверялся. В восемь вечера он явился и привел с собой друга, того самого, что перевозил меня в мае.

– О, гладиолусы! Да они с меня ростом! Спасибо…

Цветы в кувшине поставили на пол за спинкой моего кресла, и я красовалась на их фоне, будто позировала для рекламной фотографии; единственную оказавшуюся в доме свечку разрезали пополам: по половинке на каждый десяток лет. Но мы никак не ожидали, что это застолье положит конец внешней дружелюбности в наших отношениях, которой до сих пор мы с Анни старались придерживаться; Нунуш раскладывала печенье как на благотворительном обеде, по штучке около каждой тарелки; друг Жюльена ушел, Анни зевала над рюмкой, и уже потекли минуты последнего года, отделявшего меня от заветного совершеннолетия.

Наконец Анни с Нунуш пошли спать.

– Заприте дверь на засов, – машинально сказала Анни, чмокая меня напоследок. Отлученный таким образом от моей постели Жюльен не пожелал ни пойти прогуляться вместе со мной, ни остаться, ни снять на ночь под чужим именем комнату в гостинице – словом, отверг все, что я предлагала. Разгоряченные вином и бурным спором, мы изо всех сил старались придумать, как быть дальше, но решения не было, мы снова и снова утыкались в глухую стену, так что в итоге рассорились, я схлопотала оплеуху и дала сдачи. И тут разрыдалась:

– Жюльен… я люблю тебя…

– А я люблю только маму…

Вот так наконец мы окончательно поняли и признали, что любим друг друга.

Я помню эту сцену слово в слово, даже теперь, когда она кажется мне смешной и далекой. Моя звезда взошла: я люблю. Роланда должна получить туз треф; чистая, светлая гладь неизведанного стелется мне под ноги. Еще немного терпения…

С того дня мы отказались от узкой кровати. Стоявшее в столовой кресло для больной превратилось в кресло для любовников. Иногда я водила Жюльена в какую-нибудь из знакомых по прошлому гостиниц. И когда замирали, слившись, наши тела и наши сердца, вспоминались другие “моменты”, пережитые с другими, и я, не стыдясь и не лукавя, рассказывала о них Жюльену. Казалось, я где-то вычитала или услышала все эти истории, прошлое ярко вспыхивало, но тут же обугливалось и

обращалось в прах.

“Пусть этот миг останется неомраченным…”

И мы снова шли бродить по улицам, медлили, оттягивали расставание. Но, как ни тяни, а вот он, наш бульвар, наш дом и двор. Анни готовит ужин, Нунуш бросается к нам и ищет в карманах конфеты. Мы кисло улыбаемся и молчим, предоставив говорить за всех радиоприемнику, потому что сказать друг другу нечего. Чтобы занять рот хоть чем-нибудь, курим и пьем до неизменного: “Спокойной ночи, детки. Анна, не забудьте закрыть дверь на засов”.

И наконец бомба взорвалась.

В тот день мы с Жюльеном принесли бутылку в номер, где проводили вечер, а перед тем изрядно накачались в баре, до Анни же добрались только к концу ужина.

Нунуш, усвоив наконец материнские внушения, старалась не смотреть на нас и даже забывала канючить над своей вылизанной дочиста тарелкой; Анни с обычным аппетитом заглатывала пищу, раскрывая рот, только чтобы отправить в него очередную порцию. Для нас приборов не положили.

Стоять столбом около буфета мне скоро наскучило, и, вопреки расчету Анни, задумавшей, верно, меня проучить, я решила пойти спать. Гордо прошествовав почти до двери спальни, я неожиданно зацепилась ногой то ли за отодравшийся линолеум, то ли за валявшийся на полу галстук, оступилась, растянулась, и стены закачались, хмель зашумел в ушах.

– Нечего сказать, хороши голубчики! – хмыкнула Анни. – Ну, вот что, Жюльен, так больше не пойдет. Мой дом, да будет вам известно, не бордель, и поэтому…

Разом протрезвев, я сказала холодно и резко:

– Знаю, Анни, знаю и поэтому не останусь здесь больше ни минуты. Я освобождаю комнату, так что можете опять жить как свободная женщина и принимать кого угодно.

И Жюльену:

– А ты помоги-ка мне достать со шкафа чемодан.

Но Жюльен не пошевельнулся, и я сама влезла на кровать, стянула чемодан и принялась швырять в него вещи с полок. Когда же я пошла на кухню забрать свое барахло, меня остановил визг Анни (вот это здорово, наконец-то прорвало!):

– Потаскушка, дрянь! – захлебывалась она.

– …дура и сволочь, – закончила я. – Ну, все, я могу идти?

Чемодан был набит битком, все выпирало, и я никак не могла его закрыть.

– Жюльен, черт возьми, дождусь я твоей помощи?

Говорила и двигалась в этой немой сцене только я, остальные

действующие лица застыли на месте, и меня подмывало расшевелить их пинками. Анни выпустила пар и, подавленная, притихла; Жюльен обомлел и только смотрел потерянно и напряженно. Нунуш прижалась к стулу матери и всхлипывала, проняло малышку, еще бы, душераздирающая сцена, прямо как в кино. Ну а я… Я вдруг увидела, что веду себя как ребенок. Мне стало казаться, что еще не поздно сесть за стол, выпить и поговорить, люди все-таки свои. Нунуш ляжет спать, чемодан вернется на шкаф, а угроза уйти сию же минуту… Но чемодан собран, я сижу на нем и ни за что на свете его не распакую. Надо уходить, теперь или никогда, нельзя упустить такой счастливый случай. Счастливый для Жюльена, чересчур терпеливого и нерешительного, и для меня, нахлебавшейся досыта и готовой бежать куда угодно и заниматься чем угодно. Только бы вырваться, вздохнуть свободно, запеть.

Значит, надо вставать и… вот я стою, уткнувшись в плечо Жюльена. Поверх костюма я надела пальто: под фонарями ночных парижских улиц, куда я теперь возвращаюсь, должно быть, довольно холодно. Я не смотрю на Жюльена, но угадываю, как он бледен, какой у него растерянный вид, потемневшие глаза, взмокшие виски.

– Куда ты пойдешь, Анна? Где теперь тебя искать? Ты попадешься… Это что же, выходит, все было зря…

Он прижимает меня крепко-крепко.

– Да что ты так переживаешь? Разве ты не рад, что я выметаюсь отсюда? Мы теперь будем свободны, будем видеться, когда и сколько захотим! Никаких расписаний! Никаких галстуков!

– Я знаю, – отвечал Жюльен. – Каждый живет в одиночку. Но это худшее, что могло случиться: ты уходишь, и я тебя больше никогда не увижу. Буду и я жить по-старому. Один. И теперь уж никто не остановит меня на дороге.

Слезы, Жюльен, твои редкие, суровые слезы капают мне на щеку, обжигают сердце… Я зло усмехаюсь:

– Тебе бы когда-нибудь помучиться с мое и прождать меня столько, сколько я ждала тебя… Ладно, пошли.

– Скажи, по крайней мере, куда ты идешь…

– Не бойся, я знаю, куда пойти. И если хочешь, сама тебя найду. Скажи, где и когда тебе удобно… Больше мне ничего не нужно: приходить по твоему велению, точно в срок, и ждать.

Жюльен предлагает позвать Анни и помириться с ней перед уходом… или попробовать остаться, хотя бы на время.

– А завтра я встречусь с одним приятелем.

– Ну уж нет, опять в нору! Опять какой-нибудь Пьер или

снова Анни. Благодарю покорно, не для того я бежала! Послушай, Жюльен, я теперь в полном порядке, и все благодаря тебе, так что…

Жюльен решил, что я готова уступить, он успокоенно улыбается: еще немного – и я капитулирую перед этой улыбкой… но тут из спальни выходит Анни – за водой или в туалет, – и под ее острым насмешливым взглядом решимость моя крепнет. Нет, не останусь ни за что, а то придушу ее или сдохну сама.

Мы выходим на рассвете, не заперев за собой дверей. В такси, везущем нас на вокзал, где Жюльен оставит меня на перроне, а сам сядет в поезд, я беру его руку – она холодная, вялая, неживая, и так же холодны его губы.

Глава XI

– Скорее сюда. Смотри не засмейся.

Равнодушный, беглый стук в дверь. “Войдите”, – отзываюсь я так же равнодушно, но неспешно, ленивым голосом, как будто проспала всю ночь сном праведницы, одна, в своем номере, и проснулась, чтобы привычно заказать в постель завтрак, а потом подремать – понежиться еще. Я солидная клиентка: вид приличный, образ жизни размеренный, занятия неопределенные, – а если случится лишний раз испачкать простынку, то горничные не остаются внакладе. Впрочем, пятна бывают только от пепла или шоколада: практика в квартире Анни научила нас с Жюльеном не оставлять следов, как индейцы. Чтобы попасть ко мне, Жюльен быстро проскальзывает мимо регистратуры, пока я отвлекаю внимание дежурного, громко бренча ключами: на лестнице я его догоняю, открываю дверь, и мы вваливаемся в номер, словно спасаясь от погони.

Сегодня утром у меня сломался кипятильник, а растворять кофе в воде из-под крана нам не улыбалось. Вот я и заказала завтрак по телефону; на одну персону, но такой обильный, чтобы хватило нам обоим: хлеб, рогалики с маслом и джемом, целый кофейник кофе.

Закрыв дверь за горничной, выпускаю Жюльена. Он паинькой сидит в уборной на унитазе.

– Иди скорей, я умираю хочу есть…

Мы устраиваем на кровати теплую пирушку и легкое свинство: поднос стоит на одеяле, мы тянемся к нему, мешая друг другу, а покончив с завтраком, водружаем на его место пепельницу.

– Последняя сигарета, и я бегу.

– Ты же говорил, поезд в одиннадцать ноль четыре, еще есть время. Давай немножко полежим.

– Нет, я должен еще кое с кем повидаться. Не думай, это не женщина!

Какая мне разница! Я утыкаюсь Жюльену в плечо, кончиками пальцев перебираю волосы у него на груди, любуюсь его бархатной золотистой кожей, изучаю каждый изгиб, каждую родинку, каждую прожилку, чтобы запомнить и жить этой памятью до следующего раза: сутки счастья два-три раза в месяц – вот и все, что мне перепадает. Все остальное время – работа, каторга, да еще с вечным подспудным страхом.

Почти каждый день дождь: волосы у меня вьются колечками, мокрая юбка облепляет ноги, щиколотка наливается холодной

тяжестью и болью, но я хожу, потому что надо. Чтобы можно было сказать Жюльену: “Не волнуйся, я выкручиваюсь”, чтобы быть независимой и непроницаемой, чтобы заставить его забыть долгие месяцы, когда я была у него на иждивении, и изгнать мысль, будто я люблю его из признательности, чтобы ничто не омрачало наши встречи, чтобы и Жюльен стал держаться за меня, чтоб скучал по мне… У Пьера и у Анни ему не о чем было тревожиться, я была пристроена и не могла никуда деться, теперь же я сама устроила гнездышко, не такое безопасное, зато пригодное для жизни, держу его в неприкосновенности, берегу только для нас с Жюльеном, отведя для собственных нужд жалкий закуток, тесную, убогую каморку.

Конечно, со временем я буду делать другие “дела”, покрупнее и посерьезнее, но пока надо обеспечить базу.

Я никогда не бываю голодна, но желания мучат меня не хуже голода, я всегда страстно хочу Жюльена, и в эту страсть вплетается тысяча вздорных, причудливых, детских капризов…

К четырем часам дня я заканчиваю тщательно продуманный туалет, который должен оставаться свежим до самой ночи: нервущиеся чулки, несмываемая тушь, наряд элегантный и в то же время удобный; вылизываю номер, как аккуратная пансионерка, раскладываю все по местам – во-первых, я всегда побаивалась уборщиц, а во-вторых, каждый раз, уходя, могла больше не вернуться.

(“А ну встать! Никаких стульев, небось не развалишься! Ишь цаца!”)

И когда после нескольких часов допроса я сдамся и назову свой адрес, молодчики не найдут ничего, кроме выстиранных трусиков на батарее да стопки счетов: с почты, от часовщика, из транспортного агентства, – так что даже с их манией в каждой мало-мальски приличной вещи видеть краденое придраться будет не к чему.

К такому надо быть готовой каждый час, каждый миг…

Ночую я чаще всего дома, потому что обычно к тому времени, когда надо бы, прогнав сон и превратившись в тень, приступать к поискам клиентов на всю ночь, более выгодных, чем “минутные” гости, мне все до черта надоедало. Впрочем, рассказы о тридцати или пятидесяти тысячах за ночь я слышала только в камере, а там чего только не наплетут. В принципе, беглая должна бы брать за ночь еще и побольше, но для меня что день, что ночь – все одинаково окутано серым сумраком мертвящего страха. Я подавляю отвращение и скуку, пока не наберется определенная сумма, а потом спешу смыть их в волнах благостного, непроницаемого сна.

В барах, где роятся проститутки, мне случалось наткнуться на малолеток, знакомых по Френу[6]; одни так и работали подпольно, дожидаясь, пока смогут по возрасту получить желтый билет, другие его уже получили и стали профессионалками. Они узнавали меня, несмотря на то что у меня изменилась походка, я похудела килограммов на десять и сменила тюремную одежду на обычную.

– Да это же Анна! Значит, тебя уже выпустили?

Я отвечала, что я никакая не Анна, что в Париже я “новенькая”, а сама рылась в памяти, сличая физиономии, которые были у меня перед глазами, с тюремной портретной галереей. Зимой все в грубых, мешковатых, бурых робах, летом – в просвечивающих от ветхости, потертых на сгибах и складках блузках в клеточку или в полоску. Но и зимой и летом мои сестрички носили одну и ту же маску: обведенные кругами глаза на бескровном, синюшном или багровом фоне. Иной раз мелькнет что-то знакомое: особенно яркие глаза, необычный рисунок губ, ослепительные зубы, но разве вспомнишь имя, разве определишь, из какой куколки вылупилась эта бабочка, разве различишь всех этих девиц, ставших неузнаваемыми, сменивших обличье, с перекрашенными волосами, наштукатуренных, в тесных кричащих шмотках.

Они торчат в баре и ждут клева, не сходя с места; стоят себе, прислонившись к музыкальному автомату или прилипнув к заставленной стаканами стойке. Точно приказчики, подпирающие стенку у входа в лавку, они караулят добычу у врат царства притонов, где похоть гнездится в лабиринте закоулков и гуляет по освещенной панели. Доходы их зависят от времени года, фасона платья и прически.

– В этом прикиде мне, слышь, простаивать не приходится.

– А мне больше всего везет в брюках.

Ну а я просто хожу по улицам. Не толкусь на панели – это муторно и долго, я все же не записная шлюха. Мне больше нравится ходить: это быстро и не требует ни дисциплины, ни особой выучки. Даже в шестнадцать лет ни одному сутенеру не удавалось меня окрутить, ни одному клиенту облапошить. С тех пор мало что изменилось… Единственное, чего я боюсь, так это полиции: у меня нет никакой ксивы на случай, если загребут, поэтому я то и дело меняю улицу, гостиницу, внешность и, прежде чем ответить прохожему, долго принюхиваюсь, какое-то безошибочное чутье останавливает или подталкивает меня, словно светофор зажигается внутри: красный – берегись! зеленый – добро!.. иди мимо, обожди, беги скорей, улыбнись, оглянись. Я иду уверенным быстрым шагом, стремительно и почти не хромая;

независимый, нетипичный вид (“По вам никогда не скажешь!”) служит щитом и приманкой.

– Мы еще увидимся?

– Может, и увидимся – дело случая.

– Нет, правда, где вас искать? У вас есть какое-нибудь постоянное место, бар?

– Вот еще… я просто хожу.

Особо щедрым или особо липучим я иногда, в виде милости, называю свой маршрут, назначаю встречу, записываю их в книжку – только для виду, а вечером все выкидываю, таково правило, никаких записей, а то начнется: “Говори, мерзавка, кто это такой?” Но редко кто меня находит – Париж велик. Если же случится: я вам что, обязана? Говорите, ждали целый час? А я – два. Не здесь и не вас, но все равно. Не вы, так другой – какая разница!

Постепенно все идет на лад; стабильные доходы, обдуманные покупки, в доме становится уютно, сама я не дурнею, и Жюльен звонит все чаще. Со мной ничего не случится, я не засыплюсь – постоянная мысль о Жюльене хранит и оберегает меня. Снова загреметь в тюрьму мне не страшно, но не сейчас – это было бы слишком глупо… сейчас только начинается другая жизнь, потом меня поймают и посадят, что ж – пусть, но я хочу подышать еще немножко… Приближался май, я накупила веселых цветастых платьев, обулась, как когда-то, в матерчатые туфли и с упоением гуляла под зазеленевшими деревьями. Скоро Пасха, уже целый год как я на воле!

Мужские ласки и комплименты чуть не заставили меня забыть, что на самом деле я не бог весть какая красавица; эх вы, ублюдки, видели бы вы, какой я была раньше, до начала всех моих бед и моей любви, и еще увидите, какой стану очень скоро, когда все зарубцуется, все, кроме любви…

Как говорит Анни: “Вы еще молоды… Думаете, у нас с Деде в вашем возрасте все было легко?”

Чтобы объяснить, почему я так боюсь облавы и не хочу регистрироваться, я говорю всем, что меня выпустили условно и я должна сидеть на месте, а мне неймется… но это только так, временно. Один-единственный человек во всем Париже знает правду – это Анни… Пришлось помириться с ней почти сразу после нашего “разрыва”, помимо всего прочего она целых полгода была мне вроде матери, мы изливали друг другу души, провели немало часов за работой, наконец, мы обе, хотя и по разным причинам, с надеждой ждали одного и того же человека…

Когда в то утро я провожала Жюльена на вокзал – у него были такие холодные руки и он тащил такой тяжелый чемодан, –

мы еще долго сидели в буфете, пропуская поезд за поездом, я заказывала шоколад, была взбудоражена, мне хотелось много есть и дурачиться.

– Жюльен, миленький!.. Не грусти, выпей со мной шоколаду… Ну о чем ты печалишься? Может, не веришь, что я смогу устроиться?

Наконец поезд тронулся, я спрыгнула с подножки, повторяя про себя номер телефона, и по мере того, как вагон за вагоном обгоняли меня, цепочки цифр растягивались в длинный провод, за один конец которого я крепко держалась, чтобы не утонуть в неизвестности, а на другом конце был мой Жюльен…

В Париже есть места, где в гостиницах не спрашивают документов, достаточно с уверенным видом протянуть хозяину хоть пустую визитницу, которую он вежливо отстранит. Здесь вам верят на слово, и даже если вы одеты, мягко говоря, без особого блеска, никто не обратит на это внимания, лишь бы исправно блестели ваши монеты.

Дабы начать жизнь свободной женщины как полагается, я проспала до вечера, потом поужинала, снова улеглась и весь следующий день тоже не выходила из номера.

Около кровати стоял телефон, и я покрутила диск в свое удовольствие, благо жетонов, как в кафе, не требовалось – оплата по гостиничному счету куда удобнее. Звякнула в два-три места: “Привет, не ждали, это я”, а потом позвонила в бистро на первом этаже дома Анни и попросила хозяйку, у которой мы брали бутылки анисовой навынос, позвать ее к телефону.

Анни извинила меня с величайшей готовностью, извинилась сама и даже призналась: “Я тоже слегка надралась, ну да ничего, поругаться даже полезно – крепче дружить будем, заходите ко мне, как только сможете”, – и т. д.

Так что время от времени я заскакиваю к Анни. Приношу полную сумку гостинцев и, чтобы не вылезающая из своего вечного халата Анни простила мне мои наряды (я неукоснительно меняю их каждый день), держусь как можно душевнее и проще. Вряд ли она стала бы закладывать меня, но на всякий случай я стараюсь установить с нею хорошие отношения. Мысль об аресте не покидает меня, я научилась не отворачиваться от нее, свыклась с ней и не пытаюсь отогнать. Вон рыщет какой-то тип, примечаю, беру на крючок. Пошли? Пошли. Давай вперед, я за тобой. Работенка вообще-то плевая, если б только не риск, боль в уставшей щиколотке, угроза заразиться и побои, которые можно схлопотать в любой момент; храни меня, Жюльен, я твоя и только твоя. Свобода тяготит меня, лучше бы мне жить в тюрьме и чтобы ты один мог запирать и взламывать ее двери… еще, побудь со

мной еще…

Сегодня работы было невпроворот. Можно передохнуть и глотнуть абсента с Сюзи, бывшей малолеткой из Френа, успевшей с тех пор обзавестись пышными телесами, вульгарными манерами, сутенером, а до него еще и пацанкой, которой теперь три года. Иногда она брала девчушку с собой, и пока мамаша работала, та играла около стойки или прямо на ней.

Мы вспоминаем времена, когда Сюзи – в ту пору Сюзанна – попадала во Френ по два-три раза в год за побег из приюта, мелкие кражи и злостное бродяжничество. Малявки уважали Сюзанну, во-первых, потому, что ей было почти двадцать лет – рукой подать до совершеннолетия, во-вторых, потому, что она умела водить и даже уводить машины. И вот она передо мной: пухлые руки с ярким маникюром, дебелые плечи просвечивают сквозь прозрачную, джерси с кружевами, блузку, толстые ноги нелепо втиснуты в остроносые лодочки на высоченном каблуке.

– А как насчет тачек, Сюзи? Все еще увлекаешься?

Представляю – шпильки выжимают педали, длинные ногти впиваются в баранку – и вспоминаю, как мы каждый день потешались над Сюзанной в спортзале: “Вот это, я понимаю, ножки! Устойчивая девочка!”

– Ты что! – Сюзи щелкает зажигалкой, закуривает “Пэлл-Мэлл” и выпускает дым в потолок. – Разве можно, у меня же ребенок! С этим покончено, я занимаюсь своим делом, и все…

А я-то хотела взять ее в долю!

– Еще два “Рикара”, Жожо, – командует Сюзи, – один чистый, один мятный.

Э нет, с меня на сегодня хватит.

– Да ладно, последний стаканчик!

– Ну разве что последний…

Позавчера Жюльен заехал за мной на старой колымаге – “купил по случаю, за гроши” – и продемонстрировал купчую, налоговую квитанцию, страховой полис. Первый раз я видела, чтобы он хвалился каким-то приобретением, – наверно, хотел, чтобы я перестала трястись: спокойно, малышка! Он подарил мне нарциссы – весной их продают вдоль дороги на каждом шагу. Я спрятала букетик в чемоданчик-дипломат, который служил мне переносным шкафом и туалетным столиком.

– Дома сразу поставлю их в теплую воду, и они оживут – вот увидишь.

– Не увижу… Прости, Анна, но сегодня вечером я никак не могу остаться с тобой.

Обычно, когда Жюльен объясняет, что вечером его ждут

друзья, и убегает, ласково улыбнувшись на прощание, я, хоть и расстраиваюсь, но делать нечего, быстро беру себя в руки и иду домой одна… Но на этот раз было иначе: я чувствовала, что Жюльен остается в Париже, но не со мной, а с другой… Существование этой Другой становилось в последнее время все более ощутимым, хотя Жюльен молчал и темнил. Когда-нибудь я отыщу эту тень и сведу с ней счеты… Впрочем, тень – это скорее я: что могут сделать мои бесплотные руки с другой такой же тенью? Видно, придется принимать Жюльена со всей его компанией и исподволь пробиваться поближе, оттесняя одного за другим: “Ах, извините!”, пока не догоню его самого, не зашагаю вровень, а те пускай плетутся сзади или отходят в сторону – кто как хочет! – но прежде всего – приблизиться…

Я захлопнула дверцу машины и быстро, как только позволяла больная нога, пошла, не оборачиваясь и не прислушиваясь к звуку мотора, быстро слившегося с сумятицей вечернего города. Потом я ехала в метро и смотрела на свое заплаканное лицо в стекле вагона. “Насьон” – “Этуаль”, “Этуаль” – “Насьон”, из конца в конец и обратно, старый трюк, чтобы поскорее заснуть.

Я вышла за одну станцию до своей гостиницы. Хотелось пройтись перед сном и поискать, не попадется ли по дороге какое-нибудь еще не закрытое кафе, где бы меня не знали; гостиничный бар не подходил – слишком, наверное, заметно мое жадное желание напиться, хоть и пить тоже тошно.

Я пропустила несколько двойных коньяков подряд, а последнюю рюмку прибавила в гостинице, хмель еще не успел проявиться, я не чувствовала ни тепла, ни головокружения – ничего, полная ясность и трезвость. Взяв ключ, я пошла наверх пешком, чтобы по возможности оттянуть момент, когда больше не нужно будет следить за собой: держаться прямо, говорить внятно, идти твердо. Мысли путались и испарялись из головы, осталась только одна отчетливая картинка: бутылка шерри на верхней полке шкафа – ее недавно принес Жюльен, и она осталась непочатой; я не люблю шерри, но сейчас буду пить, достану, не раздеваясь, и вылакаю до дна. До полки дотянулась с трудом – надо было влезть на стул, а коньяк уже туманил глаза и шумел в ушах. Раздевалась я медленно, отхлебывая из бутылки после каждого движения и прислушиваясь, как разливается по жилам спирт. Остаток вылила в стаканчик для полоскания рта, поставила около кровати и свалилась в полном бесчувствии.

Часовая стрелка трижды описала круг, и все это время я была на грани жизни и смерти, то сражалась до полного изнеможения с душными простынями и одеялами, то вдруг оказывалась в море зловещей пустоты и отчаянно, как жертва кораблекрушения,

выгребала и выползала из нее. Звонил телефон, я кричала “алло, алло!”, забыв снять трубку. За глухо задернутыми шторами, в непроглядной ночной тьме и дневном полумраке я искала смерти.

День, ночь, день – наконец сегодня утром я решила ожить, а то горничные в конце концов взломают замок.

Вечером я чувствовала себя превосходно. Правда, где-то за глазными орбитами словно перекатывался давящий шар, по временам музыка из автомата, шум и голоса разрастались в адский рев, лица и предметы раздувались и взрывались перед глазами, но стоило моргнуть, и все снова принимало нормальный, обычный, пристойный вид.

– Извини, Сюзи…

В бар вошел один из моих “номерных” клиентов. С каждым я “исполняю номер” не больше одного раза, исключения бывали крайне редко: обычно, устав искать меня в местах, которые я им назвала, они находили мне замену или уходили. Но этот, видно, особенно упорный.

– Я ищу вас целую неделю, – сказал он, усаживаясь на место Сюзи, которая, из солидарности, тут же встала и отошла, клиент – дело святое. – У меня раскалывается голова от всего, что я влил в себя во всех этих бистро. Но все-таки я нашел вас… а это главное.

У него были темные брови и седая, жесткая шевелюра, похожая на завитой парик; очень молодое для пожилого человека лицо: глубокие морщины, но ясные глаза и белозубая улыбка. А губы, и сдержанные, и жадные, так хороши, что мне, всегда подставлявшей мужчинам щеку, захотелось поцеловать их…

Выйдя из гостиницы, мы было пошли в разные стороны, но, не сговариваясь, обернулись, шагнули друг к другу и продолжали идти вместе.

– Можно пригласить вас на ужин?

Я колебалась – моя сегодняшняя норма еще не выполнена. Никто с меня ничего не спрашивал, но я очень строгая *self-mec-woman*[7].

– С удовольствием, только не могли бы вы зайти сюда за мной через час-полтора?

– Хотите еще поработать? Пойдемте-ка лучше ужинать, скажите, сколько вы из-за меня теряете, и я заплачу…

Любопытный тип: одет и разговаривает по-простому, но, кажется, не стеснен в средствах, хорошо воспитан, держится уверенно и учтиво; вот надежное укрытие для меня, где можно забыться сном, смуглое плечо, к которому можно прижаться, видя перед собой другое, светлое – о, Жюльен!..

Такси, Пигаль, ресторан – счет, пожалуйста! – куда теперь? В

кино, в ночной клуб, танцевать, слушать музыку?

Но я не хочу показываться с этим стариканом. А хочу за его же денежки еще и поживиться: выспаться в его постели и слинять рано утром. Он не верит своим ушам: неужели я действительно свободна?

– У меня нет пастуха. Я…

Нет, не скажу.

– …во всяком случае, мы живем врозь.

В этот вечер я чувствую себя, ко всему прочему, контрабандисткой: владельцы дома, где живет мой ухажер, две старые дамы, категорически запрещают ночные визиты. Он крадется по лестнице на цыпочках, я – за ним, с туфлями в руках.

– А знаете, вы первая женщина, которую я сюда привожу, – говорит он.

– Понятно…

Я отшвыриваю туфли и вытягиваю натруженную, распухшую ногу на аккуратно застеленной постели.

Вот так обстановочка!.. У меня глаза полезли на лоб. Глядя на этого дядю, я представляла себе простую меблирашку и уже приготовилась вежливо промолчать, а тут роскошное холостяцкое гнездышко. Неожиданно на меня навалилась жуткая усталость, такая, что я не могу ни шевелиться, ни ворочать языком, ни даже объясняться жестами. Мне наливают рюмку, подносят ко рту, и я глотаю, как младенец, обжигая нёбо, но железистый, гадкий привкус остается. Мой хозяин раздевает меня, укладывает и укрывает, а сам усаживается рядом, на краешке кровати. Так он и будет сидеть надо мной?

– Почему ты не ложишься?

Что ж, такой же голый мужчина, как все, не лучше и не хуже безликих дневных гостей, но выгодно отличающийся от них тем, что имеет собственную постель.

– Да-да, все хорошо, – говорю я спустя какое-то время. Бедненький, он хотел, чтобы я испытала удовольствие!

Он назначил мне свидание на следующее воскресенье. Вообще-то я надеялась провести субботу и воскресенье с Жюльеном: это было бы воздаянием за прошлый раз, когда я напилась чуть не до полусмерти. Но Жюльен не позвонил.

Мне стало страшно и неуютно, и я согласилась пойти к Жану, пообедать и переспать с ним, не отказалась и от его щедрот. Жан рассказал мне о себе: он действительно рабочий, но не простой, а высококвалифицированный, ему послушны железные динозавры со сложными внутренностями, которых можно увидеть дремлющими где-нибудь на стройплощадках или в гаражах при

ипподроме. Жан – механик, он говорит о своей технике как о любимой женщине.

Не в моем характере стараться расположить к себе толстокожих мужиков вроде Пьера: если люди не слышат меня и не отзываются с самого начала, я теряю к ним интерес, или они отваливают сами. Не то что я такая гордая, просто не люблю охмурять и навязываться, пусть, кто хочет, идет ко мне сам. Каждому я плачу его же монетой: на презрение отвечаю равнодушием, на участие – доверием, на шутку – улыбкой.

Жан восхищался мной, целовал, любовался моими ногами:

– Разве не чудесные ножки? Да ты посмотри в зеркало: просто прелесть!

Да, уж конечно, одна другой лучше: правая как у кинодивы, левая как у секс-бомбы.

– Хватит, Жан, не зли меня.

Каждый вечер я заглядываю в свою ячейку в гостиничной регистратуре – пусто, каждое утро с надеждой жду звонка, но телефон молчит как проклятый… этот чертов телефон, чертов Жюльен, чертова жизнь… И все-таки я благословляю ее всякий раз, как, открывая глаза, вижу, что я в своей комнате, а не в камере, куда меня хотят запереть.

“Я хожу, Жюльен…”

Кубышка пополняется, я стараюсь откладывать побольше, считаю, скоро ли можно будет купить свой угол, а там… Но пока что я должна сидеть в номере и сторожить телефон; ждать, когда объявится Жюльен и снова спасет меня.

Но просить больше не буду, не хочу снова доводить его своими жалобами чуть ли не до слез.

– Ты плачешь, Жан?

– Нет, у меня просто насморк.

В тот вечер все мне было не так: еда из бистро завернута в какую-то подозрительную бумагу, белье несвежее, вода в кране теплая… Мы лежали, не касаясь друг друга, Жан избегал моих слов, я – его рук. Меня тяготила его любовь, потому что я любила только его теплую постель. Но чем больше я заводилась, тем мягче становился Жан: сама доброта, само терпение. Наконец мне стало стыдно, и я решила исправиться, допив для поднятия духа бутылочку, которая, с тех пор как я стала здесь бывать, постоянно украшала диванную полку, содержавшуюся в маниакальной чистоте и порядке. Уступаю Жану с закрытыми глазами, он бесспорно нежен и искусен, представляю, как я могла бы быть счастлива с ним, вместо того чтобы терпеть, стиснув зубы… Жюльен, Жюльен…

Глава XII

“Ни в коем случае не появляйся у моей мамы, сиди в Париже и жди – я найду тебя сам”. Была не была, я забуду это благоразумное наставление и попробую что-нибудь выяснить. Никому не покажусь, похожу вокруг дома и так или иначе разузнаю, там ли Жюльен. У меня есть телефон, который он дал мне на вокзале, – найду по нему адрес и поеду. Чем бы я ни рисковала, но я должна знать – что-то стряслось, молчание Жюльена громко кричало об этом.

В поезд я села налегке: в руках ничего, в карманах билет и несколько купюр. Нынче же вечером обратно, с Жюльеном или без него, но во всяком случае с какими-то известиями.

Откинувшись на дерматиновую спинку сиденья, я слушала стук колес и созерцала протянувшийся за окном монотонно-хмурый пейзаж и нескончаемый бег телеграфных столбов.

Не хватало только Сины под боком, маршрут тот же, но вместо дождя, оплакивающего разлуку с Парижем, – ласковое, свободное, веселящее душу солнышко, и нет больше Сины, а есть Жюльен.

Вот и городок, где живет его мама, я нашла дом безошибочно и быстро. Половина одиннадцатого – время подходящее, ребята в школе, Эдди на работе, и никто не подумает, что я напрашиваюсь на обед – еще рано. Я открыла калитку, прошла через сад к застекленной кухонной двери, заглянула внутрь: вот я, дрожащая, вся в крови, сижу около печки, а вот нахохленная, переевшая и недоспавшая за пасхальным столом; там, наверху, в окошке второго этажа, тоже я… самое долговременное, самое счастливое пристанище было у меня в этом доме.

– Мадам!

Дверь вдруг открылась, и прямо передо мной возникла мама, готовая переступить порог. Увидев меня, она от неожиданности вздрогнула, но тотчас улыбнулась и раскрыла объятия; любовь к Жюльену мгновенно сблизила нас, связала общей нитью тревоги; Жюльен – ее сын и мой любимый – соединил наши руки.

– Простите, что я пришла, это опасно для вас, я знаю… Но я страшно волнуюсь… скажите, где он?

Вместо ответа мать расплакалась, крупные слезы потекли по ее щекам; я обняла ее и прижала к себе, такую махонькую, меньше, чем я, да еще и чуть сгорбившуюся с годами. Она выносила Жюльена, он и сейчас ее частица, и коль скоро Жюльен мне муж и брат, его мать – мать и мне… моя сестра, моя мама.

– Что с ним, ма… мадам?

– Позавчера получили письмо: Жюльен в… его опять арестовали… Подробностей он не пишет – из-за цензуры… Жинетта была у следователя, он разрешил свидание, и в субботу я к нему поеду… Не знаю даже, выпустят его до суда или он уже осужден.

– А… когда же это случилось?

– Я думаю, недели две тому назад. Он не был у нас два воскресенья, а обычно всегда заглянет хоть на минутку, если может…

(На воле можешь все…)

Мама провела меня в дом, усадила, оставила обедать. Малыши радостно запищали, увидев тетеньку, которую смутно помнили, только не знали, что у нее есть ноги и пакетик с конфетами. Их смех оттенял нашу мрачность. Нас с матерью роднила одинаковая любовь, иное дело – Жинетта. “Братец опять загремел, теперь все снова-здорово, изволь бегать на почту да слать ему переводы, ходи на свидания, обивай пороги, а что это даст?” Жинетта молчит, но я читаю ее мысли.

Я неловко попыталась предложить подбросить что-нибудь от себя.

– Не беспокойтесь, он прилично обеспечен.

Пенсии матери и зарплаты зятя маловато, чтобы оправдать это “прилично”, значит, кроме меня и ближайших родственников, был кто-то еще, чья тень незримо присутствовала среди нас, витала в комнате… Что за недомолвки? Уж они-то, кажется, должны догадываться, кто я Жюльену? Почему я не должна писать Жюльену – это понятно: если он еще в предварительном заключении, то моим каракулям нечего делать на столе у следователя, если уже отсиживает срок, то тем более: он имеет право переписываться только с родственниками. Но перевод? Одна-единственная почтовая квитанция – слишком слабый след, чтобы возбудить подозрение, но это след моей исцеленной, “золотой” ноги.

Конечно, я могла оставить деньги, чтобы они отослали их от своего имени, это было бы “скромно и деликатно”… Но, увы, я не скромна и не деликатна, а, наоборот, горда, как, вероятно, все любящие женщины. Какой мне интерес одаривать Жюльена тайком – нет, за монеты, выложенные им, чтобы поднять меня на ноги, я хотела отплатить сама, своими кровными, если вообще можно какими-то жалкими бумажками отплатить за милосердную любовь… (“Ты ничего не должна мне, чудачка! Это я твой должник!”)

На обратном пути я приняла решение. Что бы я ни делала: промышляла на панели, грабила честных людей или просто

ходила и глазела на витрины, – все равно если попадусь, то буду схвачена как преступница, “ведь я в розыске” и должна сидеть за решеткой, а не разгуливать на воле. Мое место в тюрьме. Но раз туда, вместо меня, угодил Жюльен, я заменю его здесь, надену его доспехи и продолжу поход, одна за двоих. Мы будем идти навстречу друг другу, хотя и не прямым путем. Пусть теперь поплачут те, кто со мной откровенничал.

Болтовня лопухов клиентов меня мало волнует, но иногда что-то выхватишь и возьмешь на заметку. Так в моей записной книжке записан телефон одного любопытного малого: он бухгалтер, через него проходят большие деньжищи, причем он их не только считает и складывает по пачкам, но и возит из офиса в банк и обратно.

Штабеля банкнот для него что кирпичи для каменщика, и ему случается в конце месяца отложить кирпичик-другой для себя, чтобы гульнуть, поразвлечься с девочками вроде меня.

Я собиралась передать его данные Жюльену, представляя себе картинки в духе классических детективов: внезапный налет, связанные руки-ноги, дуло в нос… Тогда я почему-то не сделала этого, но сейчас… что, если сейчас, отбросив всю эту романтику, раздобыв ключ, скользнуть в пустой офис, скинуть пальто, пробежать по музею зачехленных пишущих машинок и чинных рядов канцелярских папок, выгрузить из сейфа десятка два-три пачек – и была такова… Попробовать, что ли…

– Я соскучилась…

По телефону я умею говорить особенно волнующим голосом.

– Давайте… Нет, в субботу не могу… но, дайте-ка подумать…

Надо выдержать паузу, сделав вид, что я жертвую ради него десятком других свиданий.

– Пожалуй, я могла бы освободиться сегодня вечером… вас это устраивает?

Как всегда в воскресенье, на террасе кафе и на улице полно народу. Отработано все до мелочей: я мила, внимательна, интересуюсь его жизнью, накрашена под наивную девочку и слушаю его, смиренно разглядывая обломанный кончик ногтя; мысли мои только о нем:

– У вас что-то усталый вид, а я нарочно позвала вас сегодня, когда вы не на работе и не думаете о своих ведомостях. Что с вами?

– Да нет, все в порядке, но какие у меня выходные!.. Сегодня весь день просидел за работой. В конце месяца всегда страшная нагрузка. Но я уже все закончил. Собирался заночевать в офисе, чтобы не оставлять деньги, ну да ладно, завтра приду пораньше, отвезу все в банк и успею вернуться до появления начальника. Не

могу же я принимать вас на работе… Пойдем ко мне или в гостиницу?

Посреди ночи, убедившись, что мой приятель крепко спит, я выбираюсь из дома с ключом в кармане. На случай, если он проснется раньше времени, я оставила в залог свою сумку: мол, кое-что забыла сделать, выскакивала на минутку.

Все в темпе: ловлю такси, доезжаю почти до места, взбегаю по лестнице – никаких портье, только кнопка, и двери подъезда открываются сами, – вставляю в скважину пневматического замка внушительный ключ, нажимаю, поворачиваю… Слава богу, не придется взламывать и тратить лишний час.

Ящики столов не заперты. В столе бухгалтера только “малая касса”, что-то около тысячи, иду дальше. Ишь хитрюга, завернул деньги в толстую бумагу, перетянул резинкой и засунул на дно одного из ящиков, набитого старыми папками. Надрываю уголок: вот они, новенькие, хрустящие картинки… Не распаковывая, запихиваю сверток за пазуху и распрямляюсь. Словно хмель бросился в голову. Не может быть, чтобы все оказалось так просто, что-нибудь да случится… но вокруг та же сонная тишина, ни в офисе, ни на улице ничто не шелохнется. Осталось самое сложное: имитировать кражу со взломом, чтобы отвести подозрение от бухгалтера, а тем самым и от себя.

За кабинетом начальника обнаружилась маленькая комнатушка, подсобка с умывальником, вешалкой и мутным оконцем, выходящим на узкую улочку. Окошко закрыто на шпингалет. Я открыла его, и на меня повеяло ночной прохладой, в тиши было слышно только, как стучит мое сердце под жгущим грудь свертком. Под раковиной стояло ведро с тряпкой. Я обернула тряпкой левую руку, прислонила к ней створку окна, снова прислушалась… а потом взяла в правую руку туфлю и ударила каблуком в самую середину. Стекло с еле слышным глухим треском раскололось. Я вынула по одному все кусочки, сложила в раковину и на расстеленное полотенце, потерла и поскребла стену изнутри и снаружи, чтобы было похоже, что кто-то влез и вылез, мелкие осколки стекла насыпала под окно, вытрясла тряпку и положила на место.

Закрыв за собой дверь офиса, я тем же путем помчалась обратно. Дом по-прежнему отперт – прекрасно, значит, мой голубчик спит. Спит и видит во сне накладные. Я положила ключ назад, ему в карман, а бабки сунула в свою сумку: воспитание не позволит ему рыться в ней, пока я буду спать… да, спать, потому что я валюсь с ног от усталости и перевозбуждения и сейчас засну… Э нет, скоро уже зазвенит будильник, придется

додержаться до утра. Я скользнула под одеяло: надо довести ночную партию до конца, с того места, где она была прервана. Как последняя шлюха, трусь об него, шепчу “милый”… Он прижимает меня к своей тощей груди, все его хозяйство напряжено, ноздри дрожат, в пылу он говорит, что любит меня, что я не такая потаскушка, как все, что это ремесло не для меня и что он готов на все, чтобы меня вытащить:

– Живи здесь, я один. Можешь делать что угодно, хочешь – зашибай по-прежнему, но… зачем продолжать эту мерзость? Я дам тебе все, что надо…

– А мой кот, ты что, забыл? Хочешь, чтобы тебя загребли как сутенера, если узнают, что я с тобой живу? Нет, дорогой, это невозможно, ты не знаешь блатных законов…

– Но я люблю тебя…

Вчера Жан, сегодня этот! Заладили свое “люблю”, как будто это любовь! Меня разбирал смех при мысли, какую свинью я подложила бедняге, прячу в его квартире деньги, украденные в его собственном офисе. А как он выкрутится, если вдруг прямо сейчас нагрянут с обыском – соучастие в краже, укрывательство, да еще… Еще половые извращения, если я вздумаю рассказать всю правду про причуды этого бедолаги бухгалтера, такого невинного с виду.

Да, но куда теперь девать такой куш?

Моя сумка вздулась, как здоровенный флюс, не таскать же мне ее всюду с собой. Мне казалось, что она привлекает внимание, в каждом прохожем я видела сыщика. Оставить этот груз в гостинице, где в мое отсутствие могли все обшарить, нельзя; положить в банк или в камеру хранения, как описывается в моих любимых детективах, – тоже, а доверить кому-нибудь… Кто на этом свете любит меня так сильно, чтобы не променять на мешок с деньгами, а ворованное сам бог велит украсть еще разок!

Смотрю в длинные ясные глаза Анни, глаза шлюхи, метящей в “деловые”, материнские и дружеские глаза… С недавних пор я устраиваю ей с Нунуш длинное Рождество в мае месяце. Нунуш получила заводную лошадку, это скакун пошикарнее деревянных кляч из Люксембургского сада – единственной роскоши, которую я могла предложить ей раньше… У ребятишек короткая память, и Нунуш забыла, как совсем недавно церемонилась со мной не больше, чем с дворовыми подружками, и больно жалила своей детской жестокостью, а я не могла ни ответить, ни что-нибудь объяснить ей, ни прибить. Теперь она только что не перешла со мной на “вы”. Если я брала ее погулять, послушно шла рядом, не вырывая руки, не пытаясь перебегать через улицу, ни в чем мне

не переча: ладно, купим маме вот эти духи, да, Нунуш любит играть в “Монополию”; “выбирай пирожные на свой вкус, Анна, мне нравятся любые”.

Анни теряется в догадках: не могла же я столько зарабатывать на клиентах, Жюльен, по понятной причине, тоже был ни при чем… Но она любила говорить: у деловых – что среди воров, что среди потаскух – молчание ценится дороже золота. Что ж, была не была…

– Анни, ничего, если я оставлю у вас ненадолго вот этот сверток? Я собираюсь съездить на несколько дней отдохнуть, не хочется тащить с собой. Поеду налегке, сама не знаю куда, лишь бы хоть немного подогнать время до возвращения Жюльена. Пока он сидит, прогуляюсь к морю, позагораю, высплюсь…

– Вы здесь у себя, Анна. Оставляйте что хотите. Почему бы вам вообще не перебраться ко мне, пока не вернется Жюльен?

Ага, чтобы он, как вернется, нашел меня такой же голой и нищей, как оставил. Нет уж, спасибо. Анни положила сверток в чемодан, лежавший на шкафу, там же, где когда-то покоился мой. Мои “картинки” спрятаны между письмами Деде, связками ценных бумаг, счетов, еще какими-то письмами и пожелтевшими листками.

– Вот здесь все будет в целости и сохранности. А чемодан я запираю на ключ, – говорит Анни и предлагает сделать мне второй ключ от чемодана и от входной двери, чтобы я могла, если понадобится, навещать свой капитал даже в ее отсутствие. Мы с ней друзья, она не подведет, всегда поможет, выручит, пригреет.

Никто, кроме нее… и я смотрю в ее глаза.

Глава XIII

Я расплатилась за гостиницу и перенесла чемоданы к Жану:

– Видите, я согласна. Сначала мои пожитки, а потом все остальное.

Все оказалось в разных местах: бабки, шмотки и я сама. Я так распорядилась, и теперь бесполезно гадать, не лучше ли было бы как-нибудь иначе: шмотки у Анни, бабки у Жана, или я у Жана со шмотками и бабками, или я сама по себе и все при мне – ладно, дело сделано, теперь несколько дней ни о чем не думать, сесть в поезд и… Но в голове только Жюльен, к нему прикована душа. Жюльен, смотри, какая хмурая заря встает над морем, мне холодно, Жюльен, и теплая вода не в радость.

Вечером в поезд набилась целая орава: все суетились, чего-то требовали, кричали; неугомонные детишки крутились под ногами у взрослых; смех, ругань, мамаши с сумками, папаши с кроссвордами. Я втиснулась между пассажиром, углубившимся в детектив, и подростком. Он тоже держал открытую книжку, но то и дело поглядывал на меня. А сегодня утром этот юнец стоит рядом со мной в коридоре вагона, наши руки сплелись в хлипкий мостик между его наивностью и моим одиночеством.

– Можно, если хотите, сразу, как приедем, пойти купаться. Утром чудесная вода. Я забегу к родителям, возьму плавки, и мы где-нибудь встретимся, идет?

Свежий, загорелый мальчик, как глоток аперитива перед моими каникулами, рядом с ним я чувствовала себя старой и потрепанной, и мне очень хотелось отведать его молодости.

– Нет, сначала я найду гостиницу, где остановиться, вы проводите меня, а потом зайдете ближе к вечеру. Вы знаете какую-нибудь не слишком дорогую, но и не совсем дрянную?

Меня воротит от респектабельных отелей со звездочками. По мне, взбежать бы без всякого лифта, да не по прямой парадной лестнице, а по винтовой, со свежевыкрашенными ступеньками, замазанными щелями и крутыми поворотами. И чтобы простыни в номере были жесткие и пахли лавандой, а окно выходило не на улицу: откроешь его вечером – и дохнет чесночным и луковым духом, ворвется гомон внутреннего дворика вперемешку с ропотом моря. Вот это настоящий Прованс, словно ожившие цветные открытки, и мы идем вдвоем, мой мальчуган и я, лениво и вразвалочку, летней курортной походкой.

Комната оказалась точно такой, как я хотела, и я прилегла отдохнуть на пару часов. Через опущенные ставни пробивалась золотистая струйка света, в которой плясали крохотные искорки:

пылинки и мошки.

Нам с малышом было так хорошо, мы устали и разнежились – два гибких котенка. Если захочется, снова спустимся в бар перекусить и выпить в уютном полумраке за деревянным столиком или пойдем к морю поваляться на пляже. Потом распростимся до завтра, а завтра я буду далеко, на другом людном пляже, одна или с кем-нибудь, но всегда изолированная, отгороженная от всего и всех, замкнутая в некоем круге – или квадрате, – наедине с первозданной благодатью моря и сосен, – шаг за шагом я приближаюсь к моему лету. Избегаю всякой привязанности и определенности, чтобы быть готовой принять ту форму, которую обретет к тому времени моя любовь.

Снова иду и иду, ноги в красноватой пыли, и, подобно волнам, меня подхватывают, уносят, отшвыривают прочь встречные люди… а я иду, равнодушно, без веселья и печали, просто иду. Солнечное тепло накапливается во мне, и я храню его пока внутри: мои запасы мне еще понадобятся.

Больная нога не позволяла ходить босиком: подошва, хотя и жесткая и ороговевшая, стала чувствительной, как слизистая оболочка, малейшая песчинка причиняла острую боль. Левая моя опора была неполноценной, равновесия не получалось, каждый шаг был полушагом-полупадением, и стоило мне перестать следить за походкой, как я тут же начинала прихрамывать и ставить ногу криво, под углом, закрепленным когда-то гипсовым футляром, “незначительная эквинальность” – гласила история болезни.

Иди прямо, Анна, если тебя узнают, схватят и будут допрашивать, история с переломанной ногой не должна всплыть, иначе твои спасители рискуют очутиться за решеткой. Но… разве можно помнить о тюрьме здесь? Какая тюрьма! Здесь все словно заговоренные, вездесущая полиция никого не тронет в безликой толпе, и я тоже сливаюсь с ней, в дешевой пляжной шляпе и черных очках.

Я приходила на пляж в восемь утра и оставалась до вечера, поднимаясь с поролонового матраса, только чтобы окунуться, отплывала недалеко от берега, возвращалась обратно и снова загорала, подставляя солнцу то спину, то живот. Часов в семь, когда вода становилась прохладной и молодые люди начинали свой обход, подыскивая спутниц для танцев или ужина, я уходила. Смывала под душем морскую соль, переодевалась и снова выходила на улицу, разморенная, слегка осоловевшая от запаха моря и плеска прибоя.

Я никогда не любила сидеть в ресторане одна, поэтому здесь,

как и в Париже, покупала в магазине всякую всячину, а в номере разворачивала и жевала, сидя в кровати с книжкой, постелив на колени клеенку. Что можно, ела сырым, что надо было варить, жевала так, обжиралась перченными копченостями и запивала растворимым кофе. Вот вернется Жюльен, и, если нам суждено когда-нибудь жить и есть вместе, я вспомню уроки домоводства и буду готовить по всем правилам – жарить, парить, украшать, но Жюльен в тюрьме, я в бегах, и до счастья еще далеко.

Из Ниццы я позвонила Жану:

– Приезжаю завтра утром, встречай меня на вокзале.

Назначив этот срок, я волей-неволей должна была взять билет, иначе просидела бы тут до осени, в тоске, в безделье… Хватит, моя дорогая, ты уже загорела дочерна, зубы так блестят в улыбке, что когда с тобой заговаривают, спрашивают: “Вы говорите по-французски?” Жюльен не узнает бледного заморыша, которого подобрал в ту ночь, его встретит новая женщина, красавица-негритянка, и он полюбит ее еще больше. Даже шрам на ноге загорел… А хромота? Подумаешь, очаровательная мулатка слегка припадает на одну ногу, только и всего. Никто не увидит белых полосок от купальника, никто не узнает, что я вынырнула из мрака и туда же вернусь.

Жан, служивший на Мадагаскаре, зовет меня “моя мальгашка”, путанки восхищаются “классная негритянка!”, а я каждое утро, чтобы сохранить загар, езжу на метро до “Порт-де-Лила”, в бассейн Турель. Часов до двенадцати смотрю, как тренируются профессионалы-ныряльщики, носятся как заведенные стремительным кролем из конца в конец дорожек пловчихи, делаю несколько гребков брассом сама. Здесь тоже парни слетаются на меня, как на пряник, бледные ребята, для которых я выдумываю строгую маменьку: достанется мне от нее на орехи, если опоздаю домой к обеду. У меня есть и профессия – машинистка-стенографистка, я с двух часов работаю: простите, мне пора.

Однажды, выйдя из бара, где промышляла Сюзи, в то самое время, когда мне положено сидеть за машинкой, я столкнулась нос к носу с инструктором по плаванию. Привыкшая быть настороже и вглядываться во все встречные лица, я сразу его узнала, он, скорее всего, нет. Тем не менее я полночи придумывала, что бы такое наврать ему завтра. Никаких объяснений, однако, не понадобилось: ни он, ни я ни словом не обмолвились о нашей встрече в веселом квартале и все утро мило проболтали, как обычно.

– Скоро вы меня не увидите здесь, в Туреле, – сказала я.

– Неужели? Вот жалко! Вы что, уезжаете из Парижа?

Да, прошел месяц, с тех пор как я ездила к маме Жюльена, и теперь суд уже, наверно, состоялся. Надо съездить еще раз и узнать, когда его выпустят. Потом, быть может, я вернусь – убывают солнечные ресурсы, надо будет зарядиться снова.

Но сначала нужно сходить к Анни зарядить кошелек.

Отчаяние Анни слишком картинно: сбивчивые фразы, которые она бормочет, должно быть, тщательно продуманы и отрепетированы перед зеркалом. Через ее лошадиные губы слова лезут, как веревка в узлах, я же спокойно наматываю ее, слегка потягивая на себя, если вдруг лебедку заедает. Ни удивления, ни злости я не испытываю, просто мерзко, и временами подступает тошнота. Курю и глубоко дышу, втягиваю поочередно то воздух, то табачный дым: вдох – затяжка, вдох – затяжка, вцепилась в сигарету и не выпускаю ее изо рта.

Нунуш стоит у буфета, зацепив ногу за ногу, и ждет сигнала-улыбки, чтобы броситься ко мне, к ставшей черномазой Анне, вскарабкаться к ней на колени, залезть в сумку, но я не улыбаюсь. Нунуш – дочь своей матери, ее уменьшенная копия, ее обведенные кругами завидущие глаза – уже теперь глаза Анни. Мне смешно и жалко глядеть на Анни, потому что конец дружбы между взрослыми – пустяки по сравнению с тем, чем кончит маленькая Нунуш.

Почувствовав, что на лебедку намоталась уже половина веревки, я спросила:

– Но как же воры могли зайти? Ночью вы всегда дома, а днем в подъезде полно народу.

– Не знаю… я думаю, это случилось, когда мы были в кино. Теперь, когда вас нет, вечера кажутся такими долгими, вы не представляете… И потом, вечером так хочется погулять. А Нунуш без меня не спит, боится, что я не вернусь, попаду, как отец, в больницу… ну, я и беру ее с собой. Особенно по субботам, когда можно на следующий день отоспаться… ей же надо ходить в школу.

– Мам, а мам…

Приходится вернуть разговор в нужное русло, и наконец Анни принимается выплевывать по нескольку узлов сразу, давиться. Для вящей убедительности она пустила слезу. У нее потекла тушь, а я почему-то развеселилась. Встала, подошла к двери, открыла ее, осмотрела засовы, повернула ключ, как всегда торчавший изнутри. Засовы, разумеется, невредимы. Зато на замке, самом немудреном и хлипком, действительно какие-то царапины. В моей памяти прочно засели слова, что Анни повторяла нам всякий раз, когда ложилась первой: “Главное, не

забудьте задвинуть засовы!” Иногда, просто машинально, поворачивали и ключ, но засовы были куда вернее.

– Замок и не думали взламывать! – сказала я, повернувшись к Анни. – А эти следы от напильника или чем там еще ковыряли – просто лажа, дешевое кино! Сначала вестерны, потом еще эта комедия, не многовато ли для одной ночи, Анни!

Анни тоже наклоняется и ощупывает царапины на двери, потом резко выпрямляется с перекошенной физиономией: что за черт, значит, вошли с ключами?.. Она напряженно думает, перебирает всех, кому за много лет они с Деде давали ключ и кто мог бы – если в свое время сообразил сделать дубликаты – воспользоваться тем, что она одна, и… Бедная Анни, импровизация не ее стихия. Неужели она могла хоть на минуту поверить, что я проглочу такую пилюлю и не поморщусь? Мне обидно, но она так старается извернуться, что я в конце концов иду ей навстречу:

– Ладно, не будем об этом…

Глаза Анни светлеют.

– Верните мне, что осталось, а о том, что пропало, забудем. Ведь сперли, наверное, не все.

Судя по всему, что открылось мне в Анни за последний час, забрать все у нее кишка тонка. Из какого-то подобия стыда или страха, но дело сделано наполовину. Какая нерасчетливость! Ради нескольких сотен тысяч потерять себя…

Анни вышла в спальню, пошарила в шкафу и вернулась с газетным свертком, который бросила на стол, сама же рухнула на стул.

– Меня эта история просто подкосила, – пожаловалась она. – Вот никак не соберусь прибрать после того, как они все перевернули вверх дном…

Беспорядок у Анни всегда, и я поначалу не заметила ничего особенного: впрочем, действительно, приглядевшись, при желании можно было различить следы буйного налета…

– …даже еще не сосчитала… да и не знаю точно, сколько там у вас было.

Анни взбила кудряшки, встала и продолжала уже обычным голосом:

– Когда вы уехали, я вынула деньги из чемодана и перепрятала, а потом еще много раз перекладывала – все хотела найти тайник понадежнее, вы же знаете, Нунуш всюду сует свой нос. В конце концов я разделила их на несколько частей и положила в разные места…

– Словом, у вас было предчувствие…

– Да нет, но, честно говоря, Анна, очень хотелось, чтобы вы

поскорей вернулись. Чем держать у себя чужие деньги, лучше приютить десяток беглых.

– Ну, они занимают куда больше места…

– Зато на них не зарятся воры.

– Да, но зарятся шпики, а это не лучше…

– Ну, этих я на порог не пущу!.. Но серьезно, Анна, скажите, сколько не хватает; выйдет Деде, клянусь, мы все вернем. Вообще, деньги – мусор, – Анни окончательно вошла в роль и заговорила наставительно-материнским тоном, – их везде навалом, пойди да возьми… Или вам так уж к спеху?.. Может, пока хватит этого, а там, глядишь, скоро вернется Жюльен.

Я кончила подсчеты, собрала оставшиеся пачки и завернула в потрепанную газету. На кухонном столе Анни, за которым столько всего съедено и переговорено, мое сокровище лежит неприглядным свертком, трудно догадаться, что под старой, месячной давности, газетой с ее обветшалой болтовней скрываются хорошенькие глянцевитые картинки. Ну а остаток Анни превратит в подпитку для Деде и лакомые кусочки для Нунуш, что ж, цель оправдывает средства. Мне оставалось только уйти восвояси.

– Ну, пока, Анни. Не расстраивайтесь из-за таких пустяков. Действительно, скоро вернется Жюльен, да и Деде тоже, вот увидите. Они и разберутся в этом деле лучше нас. А с вами мы друзья, с друзьями я не умею считаться…

Я вернулась к Жану: до дома Жюльена далеко, в поезде сыро, а мне хотелось спать, пить, смеяться. Это нервы. Но по лестнице, ведущей в его меблирашку, я поднималась чуть не плача; шла, как всегда, босиком, держа свои опорки в руке… голые ноги, голые нервы.

Я согласилась переехать к Жану, потому что он говорил, что часто выезжает на рудники, разбросанные по всей Франции; в первое время в такси и в кафе у нас только об этом и было разговору: Жан расписывал свои путешествия, я хорошо представляла себе эти места по книжкам, обещала сопровождать его… Увы! С тех пор как я здесь, он никуда не ездит, перекладывает поездки на других, отговариваясь болезнью, – он и правда очень утомлен. Вот и сегодня, едва переступив порог, я остро ощутила присутствие Жана, и дело не в нем самом, мирно сидевшем в своем углу, а в сверхъестественном порядке, царящем в квартире, порядке, подчинившем себе не только его, но и мои вещи. Даже вывезенные из Африки крупицы урановой руды в круглых стеклянных капсулах, песчаные розы и друзы горного хрусталя тускнели и теряли выразительность в этом безупречном

строю. Мой проигрыватель, на котором всегда лежала гора пластинок, накрыт чистой салфеточкой, одежда и обувь расставлены и развешены вместе с Жановым барахлом в шкафу, на котором красуется букет пластмассовых роз. А на кухонном столике разложены пакетики: прозрачные и хрустящие – с пирожными и промасленные – готовая еда из ресторана. При виде этих приготовлений и вопросительных глаз Жана я вдруг начинаю рыдать и падаю в его объятия. Жан принимается меня утешать, целовать и гладить по головке.

Его свежевыстиранная рубашка пахнет смесью пота и мыла, он растерянно смотрит на меня и повторяет:

– Да что случилось? Скажи, что с тобой? Я никогда не видел, чтобы ты плакала.

– Ну вот, теперь увидел. И как, нравится?

– Нет… Ну, скажи, я помогу тебе, я с тобой…

Я швыряю на диван замызганный газетный сверток, купюры, сколотые по десять штук, разлетаются и падают на пол, как карточная колода, – смотри, Роланда… Именно такой я замышляла нашу встречу, все так бы и получилось, если бы не опоздание на несколько месяцев, перелом. В нем-то все и дело.

Дурацкое падение, чудесное спасение и исцеление – все это было предвестием чего-то нового, несравненно более важного, чем порочная и уже полузабытая тюремная любовь.

Жан вылупил зенки: не часто на его безукоризненную кровать проливался такой дождичек. А я спихнула на пол последние пачки, поставила на проигрыватель пластинку, врубила на всю катушку, чтобы позлить хозяек, и сказала:

– Сядь! Перестань метаться. Из-за этой дряни, что ли, ты так разволновался? А мне плакать хочется.

Я прошлась ногами по бумажкам, а потом снова подставила голову под ладони Жана и выложила ему все, что случилось, когда я вернулась с моря, и что было раньше, только в обратном порядке: кража, Жюльен, сломанная нога, побег, тюрьма, суд… Наконец я замолкла, Жан тоже молчал, и рука его, потяжелев, замерла на моем плече.

– Одно твое слово – и я собираю манатки, – сказала я. – Я ведь и тебя тоже подставляю… Меньше, чем других, конечно: ты мой… клиент, а здесь, в меблирашках, я не записана. Но поди докажи, что я тут не живу. Вещи в шкафу, фотография…

Я повернулась и сняла с полки свою фотографию в купальном костюме: я снялась на пляже и послала Жану карточку из Ниццы, в утешение, до моего приезда.

– Ты в своем уме – хранить ее? Я в бегах, понимаешь, что это значит?

– Но, деточка, я узнал это пять минут назад, – возразил Жан. – Подожди, дай мне переварить… Ты меня, признаться, огорошила.

Он снова принялся меня поглаживать, теперь по плечам. А когда заговорил, то совсем новым голосом, уверенным и твердым:

– Это ничего не меняет. Оставайся здесь, а если сунутся легаши, я найду что ответить: мне скрывать нечего, а тебя… тебя я тоже больше не собираюсь скрывать. Надоело каждый раз подниматься босиком, завтра же начну искать квартиру, где мы запишемся оба. Чем я рискую? Документы у тебя, говоришь, в порядке?

– В принципе да. Сделаны на скорую руку, но, чтобы снять квартиру, сгодятся.

– Вот и хорошо. И вообще, всегда можно навешать лапши. А пока я буду искать, ты поедешь к своему парню и выяснишь, как у него дела. Да, может, его уже выпустили и он ищет тебя по всему Парижу!

Что же, поразмыслила я, место надежное, Жан меня не гонит, почему бы и не остаться? Придется, конечно, платить – не жалеть ни слов, ни ласк… Ну да ничего: хлебну побольше… Однако Жан продолжал:

– Естественно, приставать я к тебе больше не стану, любовь втроем – это не для меня. Да и твой друг, наверно, был бы не в восторге. Приходи сюда, ешь, спи, делай что хочешь. А я… пойми, Анна, если даже ты просто будешь изредка показываться здесь на пять минут, я буду доволен. Тем, что увижу, услышу тебя, узнаю, что ты жива-здорова, что тебе хорошо… Ну как, согласна?

– Послушай, Жюльена еще нет, и я ему не жена. Если захочу, я смогу сказать “нет” и ему, и тебе, и всем. С тех пор как я сбежала, я, как груз, перехожу из рук в руки… Теперь вот и ты! Ты тоже хочешь взять и нести меня! Эх, Жан, лучше бы я осталась на море, одна, одна… и умерла бы там…

Я заревела. Жан, дав мне выплакаться, предложил прогуляться и развеяться, а то по милости Анни я совсем расклеилась.

– Пойдем куда-нибудь… Скажи, куда тебе хочется… И перестань плакать, ты мне всю душу переворачиваешь.

– Нет, лучше подберем бумажки и ляжем спать.

Какая-то часть меня спит с Жаном, просыпается с ним рядом и встречает его вечером. Иногда я звоню ему на работу предупредить, что зайду за ним, и тогда делаю убийственные концы на метро: так дольше, чем на такси. Чтобы убить время, подолгу гуляю с ним по раскаленным от солнца и многолюдья бульварам, Жан водит меня по каким-то уголкам и закоулочкам,

открывает и дарит мне особый, свой Париж. Мы делаем покупки, как настоящие муж с женой, заходим в кондитерскую, берем готовый обед на дом в ресторане. Сама я редко подхожу к плите: уж очень мне тошно от того, как Жан превозносит до небес и смакует все, что бы я ни приготовила.

Мы переехали, и наше новое жилье гораздо хуже старого, но зато я живу здесь официально: взглянув одним глазом на мою ксиву, меня без разговоров зарегистрировали, и теперь я зовусь “мадам такая-то” (фамилия Жана). Во дворе вопят дети, на всех окнах сохнет белье, нет воды, но эта незатейливая жизнь рабочего квартала мне нравится.

Моюсь я в туалете, расположенном в конце коридора, расставив ноги по обе стороны дырки, обливаюсь холодной водой из таза, а ноги задираю под кран, приделанный на противоположной стенке. Когда же я выхожу, замотанная в полотенце, на лестнице стоит очередь соседей с тазами и ведрами в руках – кран единственный на весь этаж. Но никто не возмущается: все жалобы адресуются хозяину. А на него мне наплевать, мой душ занимает целых полчаса, и я принимаю его по два раза в день.

Остальное время читаю книги Жана, роюсь в его бумажках – попадаются материалы по специальности, туристские карты и проспекты, личные записи; смотрю в окно и улыбаюсь дворовым ребятишкам; жду с работы мужа.

Никого не удивляет моя молодость рядом с сединой Жана, то, что мы держимся за руки, как влюбленные (а на улице Жан, приличия ради, подставляет мне согнутую руку, на которую я опираюсь). Здесь в порядке вещей сожительствовать с кем-то, кто гораздо старше или моложе, скандалить, пить, драться. Некоторую экзотику вносят две квартиры, где живут чернокожие: негры, негритянки и негритята; они не кричат, а поют, и по всему этажу распространяется запах пряной пищи, которую они готовят. Жану это навевает воспоминания о колониальной жизни, я слушаю его вполуха, одновременно потягивая коньяк под мурлыканье транзистора. Жан ничего не говорит, видя, что я пью, выхожу из дому одна (“Ты гулять? Меня не берешь?”) и возвращаюсь настолько усталой, что не ворочается язык… Только сижу на кровати перед раскрытой сумкой и считаю, сколько выручила за вечер.

– Ты ведь можешь попасться, не понимаю, зачем нужно рисковать, раз у тебя еще много денег? Ведь ты не любишь это дело!

– Но, Жан, тебя ведь я тоже не люблю, но прихожу сюда каждый вечер. Почему? Потому что меня это устраивает, просто-

напросто устраивает. И мне на всех наплевать: на тебя, на них, на весь свет. А бабки пригодятся не только мне, но и Жюльену, мы их потратим вместе. Я хочу сохранить для него все, что у меня есть, в том числе ту малую толику любви, на какую я способна…

Жан безропотно терпит, может быть, ему это даже нравится. И я продолжаю в том же духе, огрызаюсь, пью и наконец сваливаюсь и дрыхну до утра, пока Жан не будит меня и не приносит кофе с горячими гренками. Он все готовит бесшумно, чтобы, открыв глаза, я пришла в хорошее настроение, сам он уже одет, умыт, с портфелем в руках, готов идти на работу. Вот тут-то я и проявляю нежность…

– А как же работа, Жан? – говорю я потом.

– Подумаешь, опоздаю…

Двери здесь не закрывались целые сутки, все оплачено, так что я спокойно могла бы гулять хоть до утра. Но я очень редко не ночевала дома: больная нога горела и требовала мягких тапочек и чистых простыней; а если иногда возникал соблазн, когда попадался кто-нибудь, напоминающий Жюльена – глазами, голосом, манерой доставать кошелек, – я старалась не совершить кощунства и возвращалась к Жану, уж он-то не внушал мне никакого желания, хотя и не был противен; с ним, как с другом, привычно, уютно – в общем, даже приятно. Что я ненавидела в нем, так это его деликатность, покорность, неизменную улыбку, иногда искаженную болью.

Глава XIV

– Вы заночуете у нас? Ваша кровать свободна…

Я собиралась вернуться вечерним поездом, но Эдди очень настаивал, так что я подумала, что ему надо что-то сказать мне наедине, и приняла приглашение.

После ужина Жинетта поднялась укладывать малышей, мама поцеловала меня и ушла к себе. В столовой остались только мы с Эдди. Он притащил груду пластинок, поставил одну на проигрыватель, сел со мною рядом и достал из бумажника крохотный, завернутый в пергамент квадратик.

– Это записка от Жюльена, – сказал он. – Тебе. Только не говори матери и Жинетте, не стоит волновать их.

Я сняла обертку. Наверху рукой Жюльена написано: “Посылаю три записки”. Одна семье, вторая, конечно, той… Но с первых же прочитанных слов все сомнения отпали, и, сидя напротив развалившегося на диване и упивающегося музыкой Эдди, я с замиранием сердца и задыхаясь от радости читала, что писал мне Жюльен.

Сначала он излагал свое дело и объяснял, что должна сделать я:

> Сходи к адвокату – это чистенькая скотина, – но сходи только один раз. Скажи, что пришла по собственному почину и не хочешь, чтобы я знал… Ему заплачено, так что сразу ничего не давай, но предложи… – и т. д.

Обвинение было пустячным: нарушение предписания о месте жительства (Жюльена взяли по пути из дому), но между строк читалось, что он боится, как бы на него не навесили все совершенные в округе ограбления…

> Чтобы не терять друг друга, надо бы никогда не расставаться; если меня упекут, я, кажется, свихнусь или, на тебя глядя, дам деру…

– А что слышно теперь, Эдди? Это написано еще до суда, а другие, свежие, новости есть?

Эдди поколебался:

– Честно сказать… эти записки мы получили в самый первый раз, в пакете с грязным бельем, потом были еще, но… для вас только эта. Да вы его скоро увидите: он выходит двадцать

первого.

– Когда был суд?

– Сейчас скажу… Всего дней десять назад… его долго мурыжили, все тягали на допросы. Он уж начал психовать и подумывать о побеге… но все утряслось, они ничего не нашли: ни у него, ни в тачке, ни здесь.

– Они и сюда приходили?

– Еще бы! Как обычно: все перерыли, всех допросили: мать, мою жену… Шуровали тут с восьми утра до шести вечера, я пришел с работы – такое тут застал! Ну, правда, ко мне они не очень приставали.

В некоторых случаях Эдди предпочитает считаться скорее отцом племянников Жюльена, чем мужем его сестры. Пять лет назад Жюльен приютил его, когда он вышел из тюрьмы. Он понравился Жинетте и остался, променял прошлую жизнь на мягкие тапочки и чистое белье. Дети, которых он, по его выражению, “получил готовенькими”, зовут его папой, они признали его, и Эдди прекрасно справляется с благородной ролью приемного отца.

А чье имя будет носить мой ребенок, если я рожу его от Жюльена… Чушь! “Ребенок от неизвестной матери” – вот уж чему не бывать!

– Вы, конечно, пойдете его встречать двадцать первого? – спросила я. – Я тоже хочу с вами.

Эдди трудно смутить, но тут он отвел глаза. Повисло неловкое молчание.

– Еще по рюмочке перед сном? – произнес он наконец. – Видите ли, Жюльен как раз писал мне об этом. Назначьте ему встречу в любой день после двадцать первого, я передам. Но он не хочет, чтобы вы показывались около тюрьмы, это опасно, за ним может быть хвост…

– Я не собираюсь являться к самым воротам! Что я, совсем идиотка? Но где-нибудь в городе, в какой-нибудь забегаловке, что ли…

Я вдруг снова почувствовала себя изгоем, попрошайкой у чужого порога, уткнулась в барьер: за ним – семья, чья-то тень… мне стало больно… Я поднялась, достала из сумки записную книжку и полистала. К счастью, листки 20–23 июня у меня густо исписаны: покупки, свидания (время и телефон). Для виду я помедлила, изображая раздумье:

– Скажем, двадцать четвертого вечером, запомните? Это легко – на святого Иоанна… Ну, хотя бы здесь…

– Нет-нет…

– Я имею в виду в городе, например, в кафе около вокзала… а

время… часов в семь, ладно?

У Эдди отлегло от души: я не слишком капризничала.

– Через три дня! – заговорил он прежним заговорщическим тоном и почти шепотом. – А если Жюльен захочет увидеть тебя раньше? Как тебя найти?

Не могу же я дать ему адрес Жана!

– Подождет. Я ждала дольше! Так не забудьте: на святого Иоанна, в семь вечера.

Мы еще послушали пластинки, Эдди говорил мне то “вы”, то “ты”, и оба мы, должно быть, слегка надрались.

…Святой Иоанн – завтра. Мне хочется вывернуться наизнанку, вытряхнуть все из мозгов, прочистить потроха и кровь, отдраить кожу. Чтобы наполниться Жюльеном до краев, чтобы я вся принадлежала только ему, а он – только мне… Пишу последнее письмо, я написала их много, в них было одиночество, солнце, тоска – ни одного не отправила, но все сохранила, уверенная, что однажды Жюльен их прочтет. Только не в тюрьме – там письма читаешь слишком внимательно, придирчиво, невольно искажая смысл.

Я не знала и не узнаю, каким Жюльен был в камере. Даже если мрак и останется в нем, то уже не такой беспросветный. А может, у него накануне освобождения будет такое же диковатое, отрешенное лицо, как у моих бывших товарок.

Да нет, ведь Жюльен был там всего пару месяцев – это не бог весть что!

Завтра, завтра… Лежу, привычно растянувшись на кровати, натянув одеяло до подбородка, чтобы не искушать Жана, и молча разглядываю трещины на потолке. Жан тяжело расхаживает по комнате, что-то поправляет, переставляет.

Похоже на замедленное немое кино – оба на пределе. Наконец я усаживаю Жана рядом с собой и читаю ему некоторые места из своих писем.

– Здорово, – сказал он, – у тебя есть слог.

– Думаешь, ему понравится эта писанина?

– Хотел бы я получать такое!

В тюрьме переписка приобретает особое значение, ждешь писем с такой тоской, сочиняешь их с таким рвением, но в тамошней обстановке мысли буксуют, слова мечутся и жужжат в голове, как огромные мухи в комнате: гоняешься за ними, поймаешь, приколешь булавкой, но обязательно покалечишь; поэтому в письмах на волю и с воли что-то всегда не так, что-то раздуто, что-то забыто. Может, ты хотел бы, Жюльен, чтобы я писала тебе в тюрьму. Но я знаю по собственному опыту, там

голова полна химер. Час на воле – и все выношенные в камере решения и планы разлетаются в пух и прах… Если сейчас я верю в твои слова, то лишь потому, что мне страшно хочется верить… Завтра…

– И чемодан забираешь? – спросил Жан.

Он уверен, что я ухожу навсегда. В самом деле, если я заберу чемодан, то зачем возвращаться? Не останется ни одной зацепки: Жан вернул мне остаток денег, которые хранил в специально устроенном тайнике, заставляя меня периодически заглядывать туда и проверять, все ли цело. Сокровище перекочевало в мою сумку, вот-вот захлопнется чемодан… Жан будет радоваться моему счастью, конечно, скрепя сердце, он не станет удерживать меня – но как это тяжело! С другой стороны, я не знаю планов Жюльена, но заранее принимаю любые: может, мы с ним куда-нибудь уедем, а может, будем жить в Париже или неподалеку, причем необязательно вместе: у него нет права на жительство, я в розыске… надо же иметь место, где переночевать, сменить белье…

– Вещи я оставляю, – сказала я, сев в постели. – И отнеси, пожалуйста, в чистку мой костюм. Не огорчайся, Жан, я еще вернусь…

Запри меня, Жюльен, не позволяй возвращаться, запрети делать то, что мне и самой не по душе… Может, мы станем требовательны и ревнивы, научимся жить по-людски, даже плакать…

Как медленно идет время! Одеяло давит на грудь тяжким грузом. Заснуть бы, окостенеть, превратить в камень отчаянно рвущееся вперед сердце. О Жюльен, выбери меня, я – твоя дорога, ступи на нее обеими ногами, и я приму каждый твой шаг, до самого последнего.

Тонкой струйкой доливаю воду – жидкость в бокале мутнеет, уровень ее поднимается, и вот я держу окрашенный бокал, гляжу сквозь него, и все в бистро меняет цвет. Стены и столики становятся акварельно-желтыми, я пощадила только белизну женских блузок и курток официантов, все остальное мой светофильтр окрашивает по-своему: меняет гамму расставленных на полках напитков, смягчает кричащие этикетки, покрывает загаром кожу, чуть золотит одежду.

У меня кружится голова, я не пила три дня. Ставлю бокал обратно на столик: этот приберегу, чтобы чокнуться с Жюльеном. Предыдущие выпиты, поглощены, померкли, а этот вписался в интерьер, который я успеваю детально изучить, пока сижу здесь и пожираю глазами часы над стойкой. Без пяти семь, еще пять

минут – и стоп-кадр. Вокзальная сутолока, поток автомобилей, клубы дыма и гудки паровозов – фон, футляр, из которого я извлеку себя и засияю бриллиантом, затмевая все вокруг.

Отступят сумерки, и вспыхнет солнце… Без трех семь.

Не подниму больше глаз ни на часы, ни на дверь, пропускающую волны входящих и выходящих.

С одной из волн войдет Жюльен, а до тех пор пусть глаза будут потуплены, незрячи; я съеживаюсь, подбираю руки, ноги, и снова окружающий мир обтекает меня, скользит, как вода по стеклу, рассеивается, как пар в тумане… Я есть, я нашла себя, нашла свой путь… я долго ковыляла, хромала и блуждала по глухим тропам, но всегда пробивалась к нему, послушная магнитной стрелке, направленной точно в цель. Мой компас не подвел: привет, Жюльен!

Он взглянул на часы:

– Наверно, первый раз в жизни я пришел вовремя…

И опустился на банкетку напротив, прежде чем я смогла взглянуть на него. Лихорадочно пытаюсь поймать нить реальности и связать концы, но не могу ничего удержать в голове – все уплывает через распахнутые шлюзы глаз; не могу ничего сказать – только смотрю на Жюльена… мы оба смотрим друг на друга, и в этот миг исчезают сомнения, тают тревоги, исполняются надежды.

Вокруг грузным черно-белым жуком кружит официант – его так и притягивают столики, где рюмок меньше, чем людей. Мой “Рикар” отмечает лишь мое присутствие, а этому малому нужно, чтобы Жюльен материализовался тоже, вот он и ходит взад-вперед с делано равнодушным видом, перекладывает из одной руки в другую свой поднос, теребит салфетку, переставляет пустые стулья и ждет. Нет сил смотреть.

– Официант! – подзываю я, глазами спрашиваю Жюльена, что он будет пить, и отвечаю за него: – Еще один “Рикар”.

Официант уходит, а Жюльен все больше обретает осязаемость.

Я еле узнаю его: он очень бледный, над знакомыми губами отросла ломаная черточка усов, лицо спокойное и просветленное; я перед ним робею, как будто в нем есть что-то священное или запретное.

Это он, Анна, тот, кого ты любишь… да, но чем он лучше любого другого – мало ли таких выходит каждый день на волю из тюрьмы да шляется по барам; что за причина, что за необходимость любить именно этого? Что пробегает от него ко мне, что заставляет меня так дрожать всем телом – что это такое, откуда берется?

Вот мы сидим и разговариваем: слова текут, снимают скованность, но все произносимое вслух – лишь аккомпанемент глубокого безмолвия наших чувств. Я говорю о себе, Жюльен – о себе, а о нас – молчок! Об этом потом. Три его да три моих месяца – итого полгода, не сразу все и перескажешь; официант включил свет, сменил бокалы, а мы все не наговорились досыта. Жюльен рассказывает обо всем подробно: об аресте, допросах, о том, как он боялся за меня.

– Я, как последний дурак, записал твой телефон в книжку, которую всегда таскал с собой. И никак от нее не избавишься: надели наручники, да еще так стиснули по бокам… Всю душу они мне вымотали с этим телефоном! Наконец я сказал, как есть, дескать, это гостиница в Париже, которую мне посоветовали… Они сразу вцепились: “Ага, ты, значит, бываешь в Париже?” Нет, говорю, еще не успел доехать и позвонить, вы меня перехватили… А у самого сердце в пятках: ну, как они возьмутся за хозяина, прочешут номера…

– Что ты, – смеюсь я, – как только запахло жареным, я смотала удочки и убралась оттуда! Пусть бы себе искали на здоровье… Да, кстати (пора сказать о Жане), я не стала искать новое жилье без тебя, а пока оставила вещи у одного типа. Он малый что надо, но это не мой дом… Видишь, я опять пришла, как в первый раз, чуть не голая, безо всего, даже без имени… Хотя, постой, кое-что я захватила, это тебе… то есть нам, на первые расходы.

И я протягиваю Жюльену пакет, стараясь, чтобы получилось легко и естественно: давать деньги почти так же трудно, как брать. Мы с Жюльеном это знали и каждый раз разыгрывали маленькую комедию, изображая непринужденность. Помню, как делал Жюльен, когда я жила у Анни, совал мне пачку в карман или в руку: “На вот, купи себе пару чулок”. Как бы велика ни была сумма, все равно всегда на пару чулок. Я поступаю так же:

– На вот, на бензин… И достань тачку побольше, нас ведь теперь двое. А между прочим, где твоя старая?

– Эдди сейчас поехал за ней в полицию. Эти гады поставили ее на штрафную стоянку. Пришлось писать доверенность, брать у следователя разрешение… Ну и поскольку Эдди пришлось повозиться, а Жинетта, я знаю, обожает кататься, я и сказал им, пусть оставят тачку себе, они ее живо доконают.

– А мы купим другую, новенькую…

– Ну нет! Надо брать подержанную – не так жалко будет расколотить. Я зайду в Париже к одному барыге, который толкнул мне ту, прежнюю. А сейчас…

Жюльен привстал – официант тут как тут, – взял мою куртку,

подал мне сумку.

– …сейчас пора линять. Не забудь, я здешний, и на меня всегда расставлены капканы… Мне надо подождать, прежде чем я смогу снова податься в крутые…

– Ну да, пока опять не заматереешь… Я вот уже матерая, мне все нипочем – все равно по уши…

– Не болтай глупостей, лучше поцелуй-ка меня. Здравствуй, Анна…

Мы так спешили все выложить друг другу, что как-то и не подумали об этом. Стрелки сделали полный круг, под косыми лучами солнца наливалась темнота; за столиками сидели уже другие люди, перед ними другие стаканы – желтые, оранжевые, красные, прозрачные, – и в каждом соломинка.

– Как бедная твоя лапка, не очень устала? – спросил Жюльен.

В свое время он разработал множество способов оберегать мою хромую ногу, у него вошло в привычку прокладывать мне путь в толпе, не позволяя, чтоб меня толкали; поддерживать под руку, идя с той стороны, на которую я припадаю; сдерживать шаг, подлаживаясь под мой…

Но сегодня мы оба словно делаем первые шаги после болезни: три месяца тюрьмы – как чуть зарубцевавшаяся рана, наш общий шрам. Казалось бы, что страшного, не впервой, но никогда прежде не было так тяжко, и прежняя расплывчатая тоска не шла ни в какое сравнение с нынешней, острой и определенной. Три месяца мечтали мы об этой минуте, этот “малый срок” был нашей самой длинной ночью.

Мамин дом – в конце улицы, на самой окраине, смыкающейся с унылым пустырем, за которым тянутся поля картошки и свеклы. Мы идем грунтовой дорогой, шагаем по траве, по лужам; последние всплески дневного шума, последние лучи заходящего солнца ласково касаются нас.

– Знаешь, мне как-то не очень хочется идти к твоим…

Я сыта по горло учтивой приветливостью Жинетты и свойской бесцеремонностью Эдди. Только мама – простая душа и светлая голова… Мне не хочется, чтобы получилось, будто я навязываюсь. Они, может, думают, что я цепляюсь за Жюльена, боятся из-за меня лишиться его щедрот. Родственники вправе предъявлять права на Жюльена, стараться оградить его от чужих, они бы не прочь сами подбирать ему друзей и подруг… К счастью, Жюльену на все это наплевать.

– Что я, не сын своей матери?

– Да, но я-то им никто. Не хочу стеснять ни их, ни себя. Я люблю твою маму, малышей, но ведь…

– Они уже давно грозятся найти себе другую квартиру, но

искать, похоже, и не думают! Их вполне устраивает жить с мамой, всегда можно оставить на нее детей, а самим закатиться куда-нибудь. А мама… она любит малышей. Но, мне кажется, она плохо выглядит. Увидишь, все переменится, для начала мы будем куда-нибудь брать ее на денек с собой, она развеется и лучше узнает тебя. А потом найдем ей квартирку, она там будет жить тихо и спокойно, а мы сможем приходить к ней в гости, к ней одной…

Я не уверена, что маме так будет лучше, но не хочу портить чудный вечер глупыми или нескромными речами. Не могу и не хочу судить, да и не так уж это меня волнует. Пусть Жюльен забирает маму, пусть забирает меня куда угодно, лишь бы еще хоть чуть-чуть идти рядом с ним или за ним, видеть его, касаться его, пока судьба не распорядилась иначе.

– Нет, ты обязательно пойдешь к нам. На ночь мы, может, найдем другое место, но сначала я хочу назвать тебя перед всеми так, как назвал сегодня сам для себя: Анна, любовь моя, единственная…

Жюльен остановился, я тоже.

– Не знаю, – продолжал он, – не знаю куда, но мы с тобой пойдем вместе и будем идти долго-долго…

Уплыли дома, земля превратилась в остров у нас под ногами, победно поют невидимые птицы. Вечер святого Иоанна, незабываемый вечер забвения. Наш поцелуй созвучен всей природе.

Глава XV

Наша машинка не аристократка, простенькая и негордая; чтобы не выделяться, мы выбрали старушку самой заурядной модели, крутобокую, без панорамных зеркал; она не подавляла, не выставляла нас напоказ, а принимала как добрый друг. Нутро ее уютно урчало подо мной.

– Хочешь спать? – спросил Жюльен.

– Не то слово! Умираю!

Длина сиденья как раз позволяла мне устроиться лежа. Ногами на подлокотнике, головой на свернутой одежде – кайф! Перед глазами плыли верхушки столбов, ветки деревьев, утреннее небо; я еле удерживалась на обрыве над морем сна и не хотела в него срываться. Лучше быть с Жюльеном, смотреть на его затылок, как когда-то, в первый раз. Выспаться успеем, сначала надо навестить друзей Жюльена, с которыми он хотел меня познакомить, а они живут не доезжая Па-де-Кале. Вчера мы зашли в тир пострелять и выиграли кучу всякой дребедени: одна кукла на веревочках болталась на ветровом стекле, еще несколько штук валялись сзади, вместе с ворохом автодорожных карт, тряпок и провизией.

Последний раз мы спали в постели позавчера, в ночь святого Иоанна. Мама пустила нас в свою кровать, а сама ушла в детскую, и с тех пор… А я-то всегда презирала сон! О, теперь гордыни у меня поубавилось, я готова, я жажду спать!.. С тех пор мы всё едем и едем: вчера утром поездом в Париж, день ушел на поиски машины и оформление бумажек, обедали у приятелей Жюльена.

– Привет, старик, где это ты пропадал?

Обед был беспорядочный: сначала пили кофе, потом ели, пили рюмку за рюмкой и болтали о том о сем. Мне оставалось только слушать вполуха воспоминания о добрых старых временах, вторить общему смеху, попивать, покуривать, сдерживать зевоту – и все это до головной боли.

Вечером я заскочила к Жану взять кое-что из вещей: Жюльен брал меня в чем есть, без всякого “приданого”, это, конечно, благородно и красиво, но сменить белье все-таки не мешало.

Жан показался мне чем-то очень давним и далеким; с тех пор как мы простились с ним на вокзале, родился совсем другой мир, и в тот, старый, где остался Жан, я возвращалась окутанная дымкой счастья и, наверное, вся светилась в серой комнате; детский крик со двора, пение черных соседей еле касались слуха нерасчлененным потоком звуков – меня здесь больше не было.

– У тебя счастливые глаза, – сказал Жан. – Как ты

переменилась со вчерашнего дня! Но почему-то я не ждал тебя так быстро. Думал, ты исчезнешь на много месяцев.

– Я только переодеться. Помоги-ка мне, только скорее, я спешу!

И я стала бодро раздеваться, заставляя Жана что-то застегивать и расстегивать у меня на спине, пусть понюхает мою новенькую кожу: я не собиралась бросать ему подачку, ведь он сам говорил, что его счастье в том, чтобы была счастлива я, и я со злорадной жестокостью предоставляла ему убедиться, что вот я счастлива, а он ни при чем, ему нет места в моем счастье. Жан – это моя камера хранения, вешалка, выхлопной клапан, хоть сам он небось думает – палочка-выручалочка заветная (“И зануда несусветная!”) – так я расписала его Жюльену, чтобы оправдаться, хотя он и не думал ни о чем меня расспрашивать: какая разница, где я была и что делала вчера – вчера уже умерло, а мы жили, ну а что сулит завтра… Ох, как тяжело шевелить мозгами! Деревья валятся на меня, машина скользит куда-то вниз и вниз, хочу спать…

– Вот океан, – говорит Жюльен.

Мой сон как рукой сняло, я села и принялась во все глаза глядеть на разлившуюся до горизонта водную равнину, безотрадно пустынное побережье, лагуны и ржавые валуны. Я привыкла, что на юге вода теплая с самого раннего утра, и намеревалась искупаться, как только мы подъедем, но под этим клочковатым, хмурым небом хотелось надеть не купальник, а пальто.

Мы подогнали машину как можно ближе к берегу, пока колеса не стали увязать в песке, разулись. Вниз, к воде, вели вырубленные в камне ступеньки, я шла по ним еле-еле, цепляясь за Жюльена, каждое прикосновение к камню отдавалось болью во всей ноге. Медленно, осторожно ступая, мы наконец добрались до пляжа и там с облегчением и наслаждением окунули ноги в скользкую холодную кашу из песка, мазута, прелых водорослей, морских отложений… В городской одежде, опьяненные йодистым запахом и ветром, мы шли вдоль кромки прибоя; я с трудом переставляла вязнущие ноги, подавленная этим удручающе равнодушным, величественным и мертвым простором.

– Ну как, – засмеялся Жюльен, – купаться не передумала? Пойдем-ка обратно, я видел там, наверху, ресторанчик. После такой воздушной ванны неплохо глотнуть кофейку.

В машину я ввалилась, как куль, и сразу закрыла глаза: все, больше не пошевельнусь… Жюльен принес из ресторана дымящуюся чашку, кофейная горечь на несколько минут разогнала муть в голове, но она снова надвинулась на меня

черной стеной и на этот раз подкосила окончательно. Впрочем, я еще успела подумать, как приятно погрузиться в мягкий, бархатный покой, который никто не потревожит, потому что его охраняет Жюльен.

…Пейзаж тот же, что и утром: океан, полоска берега, хлесткий, секущий кузов острыми песчинками ветер; и наша машина застыла островом. Я заливаюсь слезами, солеными и горестными, как морские волны, рыдаю безудержно и порывисто, как будто соревнуюсь с ветром, плачу великим вечным плачем. Жюльен, не ожидавший такого взрыва, обнимает меня, пытается сказать что-то успокаивающее, смягчающее, но я не могу и не хочу успокоиться. Начиная этот разговор, он сказал:

– Ты должна выслушать меня до конца…

А я ответила, что готова, пусть начинает. И действительно думала, что вполне настроилась, смирилась и закалилась, чтобы выслушать то, о чем давно догадывалась, но, произнесенное вслух, это оказалось так неожиданно больно, будто в меня выстрелили из-за угла, сразили наповал. Пока какие-то женщины – или женщина – маячили около Жюльена, оставаясь безымянными, неосязаемыми тенями, моя молодость и доверчивость со смехом отгоняли их, они просачивались сквозь меня, почти не задевая: спит с ними Жюльен, и ладно, и правильно делает.

Но в исповедники я не гожусь, мне не хватает сил, чтобы оставаться беспристрастной. Не могу ни понять, ни простить, только стараюсь не дать волю ненависти и ярости, которые наполняют меня, по мере того как Жюльен говорит. И все равно из глаз хлынули слезы, захлестнуло желание выть, душить, терзать.

– Ну почему ты принимаешь это так близко к сердцу? Вроде была такой сильной, стойкой, всегда только смеялась, казалось, ничем тебя не проймешь – законченный циник… Анна, ну же! Ведь я сказал: с этим покончено, у меня только ты одна… И завтра, и всегда мы будем вместе!

– Да, но вчера, Жюльен, вчера… Как подумаю, что она встречала тебя у ворот тюрьмы, она, а не я, а я так хотела! Первые часы на воле, первые ласки берег для нее… нет, нет, это ужасно! А я-то, я-то думала только о тебе, берегла все для тебя, хранила до той минуты, когда тебя увижу!

– Но… Я тоже думал, что ты придешь вместе с Эдди. А он… привел другую, так получилось, в общем, случайно. Он сделал не так, как я просил, вот и все… пойми же, Анна, пожалуйста! Она подкупила весь дом, маму, ребят, завалила их цветами, игрушками, тряпками, у нее приличная, честная работа, она моя

ровесница, серьезная, аккуратная, и… все в таком духе! Вот они и хотят меня на ней женить. Честное слово, я рассчитывал, что меня встретишь ты, но под рукой оказалась она, со своими нежностями…

– А меня-то, меня за кого считают?

– Ну, ты что-то вроде моего каприза, тайной прихоти… Мама в молодости немножко гадала на картах, и она все время говорит мне, что, если я буду с тобой, нам не миновать новых напастей и мы оба останемся в блатных… Ей не очень-то нравится, что я занимаюсь такими делами, что ты хочешь, ведь она мать… Меня та женщина устраивала – было где переночевать, когда приезжал в Париж, в гостиницу же мне нельзя. А у Пьера или у Анни, согласись, не всегда удобно… Потом… иногда я так страшно уставал…

Искорка надежды затеплилась в кромешной тьме: может быть, когда-нибудь, когда я остепенюсь, семейство Жюльена признает меня, я верну себе имя и смогу залучить Жюльена к себе в постель… Ну да, когда-нибудь, через много лет, когда рассчитаюсь со своим сроком и со своей молодостью и шансов понравиться мужчине уже не останется!

Ждать, пока повзрослею! Я и так уж ждала, ждала… Пока выпишусь, пока начну ходить. Это было ужасно долго… нет, искорка слишком далека… Зато сейчас я здесь, с Жюльеном; правда, глаза застилают слезы, но я постараюсь их осушить и ясно видеть в темноте. Может, у моей соперницы терпения не меньше, чем у меня, может, она ждет своего часа, чтобы захлопнуть капкан, конечно, у нее передо мной есть преимущества: право первенства и легальное положение, ей-то не откажут выдать документы для оформления брака… Но не в этом дело, я хотела, чтобы и тени ее не было ни в настоящем, ни в будущем, чтобы Жюльен отобрал все, чем одарил ее со своей милой беспечностью, чтобы она не могла больше наслаждаться его обаянием, чтобы он больше не видел ее.

– Легче убить человека, чем воспоминание, – говорю я.

– Да зачем убивать? Я ее не люблю и не могу любить.

– По крайней мере, я постараюсь, чтобы не завелись другие!

– Что ты имеешь в виду?

– Другие воспоминания… Будь уверен, если ты заикнешься ей обо мне, она в два счета сочинит себе ребеночка или найдет другой способ тебя шантажировать. Не верь ей, Жюльен, берегись, знаю я таких баб…

Я подумала о Сине, о лютой ненависти, которой сменились ее нежные чувства и ее слезы после нашего “развода”; подумала о Роланде, о Жане, обо всех, кто любил меня еще раньше,

вымаливал мою любовь и кого я, в свой черед, равнодушно оттолкнула и ушла. Неужели им было так больно, как мне сейчас, неужели, вот так же оцепенев, они вслушивались, как пульсирует внезапно открывшаяся рана, внимательно и удивленно постигая болезнь любви. Если болит голова или нога, можно отключиться, отстраниться, здесь же – не отвертишься, не спасешься никаким лекарством, боль вгрызается, вцепляется мертвой хваткой, становится частью твоего существа. Все заслоняют детали, отчетливые до крика, до слепоты. То, что жило во мне: нетерпеливая, но незыблемая вера, абстрактное, смутное представление о любви, гордость, – все умирает на морском песке, и я понимаю, что за мука любовь, и схожу от нее с ума…

Благодарю тебя, Жюльен, за эту боль. Ты прогнал химеры, разбудил женщину не только в моем теле, но и в сердце. Я презирала подругу за жалкую настырность, судорожную, рабскую привязчивость – и вот сама подбираю за тобой каждую крошку…

– Поехали, – сказала я наконец, – нас ждут с обедом.

День прошел как во сне, то в духоте раскаленной машины, то в прохладе тенистых улиц и туннелей, я так хотела спать, что потеряла счет часам, но казалось, могу продержаться еще сколько угодно дней и ночей, время застыло, и я все делала инстинктивно, автоматически.

Я отдала Жюльену письма[8], которые писала ему все три месяца. Он читал, а я ждала, как ждут приговора, и бездумно пропускала сквозь пальцы песок.

Мы наконец вырвались от друзей, после самой последней из множества последних рюмочек, и теперь лежали в дюнах, одни, не думая ни о чем определенном, обходясь жестами, связанные ниточкой живой радости, которая не оборвалась, не ослабла с вечера нашей встречи в День святого Иоанна, а от слез, пролитых сегодня днем, только окрепла, как крепнет от дождя пеньковая веревка.

– От твоих писем кружится голова, – сказал Жюльен, возвращая мне листки. – Сохрани их для меня. Я тебя совсем не знал… Прости меня, Анна…

– Простить за что?

– За ту женщину, а чтобы ты больше не плакала, я покончу с этим прямо сейчас. Скорее едем назад, в Париж, я успею к ней до двенадцати. Ты подождешь в машине, а потом будем спать день, два, неделю, сколько захотим. Я уже давным-давно собирался порвать с ней, но решился только после того, что было утром, и твоих писем… знаешь, всегда хочется обойтись без взлома. Но если необходимо вырваться любой ценой, бей, ломай, плевать на

все, придется ей расплачиваться за мою вину перед тобой.

– Но до Парижа триста километров… Я и то совершенно разбита, а ты со вчерашнего вечера не выпускал баранки!

– Ночью, рядом с тобой, вот увидишь… Мало, что ли, я провел таких ночей, когда надо было, кровь из носу, куда-нибудь добраться или откуда-нибудь смыться… Потом когда-нибудь я научу тебя водить, чтобы ты могла меня подменять или перегонять тачку.

– Ну да, водить! А как нажимать педали с моей лапой?

– Ничего, приспособишься. Сейчас ты убедишься, как мало в таких случаях значат усталость и сонливость.

На этот раз я остаюсь на переднем сиденье, вглядываюсь в дорогу, чтобы увидеть, какая она на самом деле, но деревья размываются в серые полоски, а промежутки темноты между ними подступают к обочинам и вырисовываются огромными черными стволами, на дороге мечутся, скачут, бросаются на капот неясные тени. Ветки сплетаются в гигантскую паутину, которую свет фар прорезает лишь на миг, с нее сыплются на крышу машины пауки, и она смыкается вновь…

Жюльен, наверно, тоже все это видит. Он борется с ночью, иногда рывком выпрямляется и снова сгибается над баранкой, напевает, смеется, балагурит, притормаживает и, встряхнувшись, просит:

– Зажги-ка мне сигарету!

Я зажигаю две – одну, не целясь, вставляю ему между пальцев. Другую держу сама, она выпадает, обжигает пальцы – я засыпаю и просыпаюсь, засыпаю и просыпаюсь.

Вот наконец Париж.

Я выхожу, расправляю мятую одежду, тротуар покачивается и подрагивает под ногами, как автомобильный пол.

– Давай снимем комнату, – прошу я, – в такое время в гостиницах не особенно заботятся о документах.

– Еще чего! – возмущается Жюльен. – Не для того мы отмахали такой путь, чтобы отсыпаться в гостинице.

– Но ты завалишься на ее постель и не встанешь…

– Не беспокойся, не завалюсь! Тебе вот действительно надо лечь сейчас же, а я мигом разделаюсь и приду… Или нет, пожалуй, лучше заеду за тобой утром и подожду в машине перед гостиницей. Мой единственный документ – предписание о месте жительства…

– Нет, приходи! Запишемся как-нибудь. Это ведь всего на несколько часов.

– Я буду внизу ровно в восемь. Спи спокойно, только не забудь попросить, чтобы тебя разбудили.

Я больше не спорю, предоставив Жюльену вытаскивать из чемодана на заднем сиденье мой несессер.

У первой же неоновой вывески, возвещающей гостиницу, мы выходим и идем к двери на свинцовых, негнущихся ногах. Я спотыкаюсь, зацепляюсь за решетку метро, на ходу закрываю глаза, все вокруг пляшет, мигает в сонном калейдоскопе.

Кровать, стол, за стеной ванная с туалетом: раз от разу мне достаются номера все роскошней, этот просто огромный. Не успела я улечься, наконец уступив усталости, повернуться на бок лицом к стенке, не успела толком заснуть, как утонула в кошмаре: какие-то люди ищут меня, выкрикивая кто похвалы, кто страшную ругань, я стою прямо перед ними, но они меня не видят. Я подхожу к ним вплотную, называю свое имя, но имени у меня нет, и все отшатываются, не узнают меня, – все, даже те, которые когда-то говорили, что любят меня. Тогда я пускаюсь бежать без оглядки, а вокруг деревья, скалы, море; нагая, загорелая, я уношу свою молодость на просторные солнечные склоны.

Где сон, где явь? Что ждет меня день за днем? Вдруг опять, как тогда, утром, на берегу… Снова горечь подступает к горлу… Иди ко мне, Жюльен. Я жду тебя в этой мирной, теплой постели.

– Войдите!

Вспомнив в последний момент, что на мне ничего нет, я натягиваю на плечи простыню. Дверь открывается, и, неся на подносе завтрак, входит Роланда.

– Семь часов, мадам.

Она ставит поднос на столик и исчезает. И тоже, как во сне, не видит меня. Что ты тут делаешь, Роланда, как ты похудела. Хочешь, позавтракаем вместе? Сколько раз мы мечтали об этом, глотая по утрам тюремную гадость, ячменный кофе, шептали: “Ничего, уже скоро, закажем по чашечке двойного…”

Но эта похожая на Роланду девушка сродни давнишним, вчерашним, позавчерашним слезам: ни прежняя нежность, ни упреки меня больше не тронут. Роланда была ночником, настал день, и я погасила ночник. Так солнце за окном погасило неоновые буквы и картинки, стекло уже теплое, улица зашевелилась.

Через час меня будет ждать Жюльен! Скорее – умыться, одеться, собраться, ничего не забыть.

Без двадцати восемь. Допиваю кофе прямо из кувшинчика и перед уходом, по привычке, навожу порядок, чтобы не ворчала горничная. Но сюда-то я точно никогда не вернусь: вечером меня ждет другая крыша, Жюльен наконец заберет меня, пустит в свой

мир.

Я узнаю в этом мире все уголки, все дома, всех друзей Жюльена, даже – почему бы и нет? – свою соперницу. Она будет мне сестрой, или я сведу ее с Жаном. И буду все время в пути, как тень Жюльена, как браслет на его руке. Прикосновение Жюльена сотрет с меня всю грязь, как тогда, мгновенное падение и перелом; переломилась кость, и все переломилось, порвались гнилые сети, прощайте, голубушки!..

Я открыла окно и выглянула наружу.

Без одной минуты восемь: вот машина, я вижу сверху скользящую крышу, останавливается в десятке метров подо мной… Жюльен! Минута – и я с тобой…

Хватаю несессер, открываю дверь, поворачиваю ключ. На лестнице стоит невысокий, добродушного вида человек и весело говорит мне:

– Здравствуй, Анна! Ох и давно же я тебя ищу! Ну, пошли, ты впереди, я следом. Только не вздумай бежать, слышишь?

Я улыбаюсь, что ж, мы пройдем мимо Жюльена, он поймет, что я немножко задержалась, и не по своей вине.

Эй, спокойно, ничего, мы встретимся на солнечной вершине. Один из нас еще в самом низу, придется карабкаться, подтягивать друг друга, отдых еще не скоро… Ну и пусть, главное, я иду, шагаю перед сыщиком, спускаюсь по лестнице, а если и прихрамываю, то совсем чуть-чуть.

notes

Сноски

1

“Богоматерь цветов” – роман французского писателя Жана Жене (1943). *(Здесь и далее – прим. перев.)*

2

Сироты и лица, желающие освободиться от опеки (как в случае Альбертины Сарразен), могли быть признаны совершеннолетними ранее двадцати одного года.

З

От франц. *astragale* (лат. *astragalus*) – таранная кость, одна из костей предплюсны, формирующая нижнюю часть голеностопного сустава.

4

“Дневник вора” – автобиографическая книга французского писателя Жана Жене (1949).

5

Санте – парижская тюрьма.

Френ – парижская тюрьма.

7

Здесь: сама себе сутенерша *(англ., франц.)*, по аналогии с *self-made-woman*, женщина, обязанная своим успехом лишь самой себе *(англ.)*.

8

Эти письма Анны (Альбертины) к Жюльену Сарразену (ее будущему мужу) были опубликованы после смерти автора.